

И. ДОВИДАЙТИС

СЕКРЕТНАЯ ПОЧТА

И. ДОВИДАЙТИС

СЕКРЕТНАЯ ПОЧТА



42 коп.

в н.с. 68



G



Й. ДОВИДАЙТИС

СЕКРЕТНАЯ ПОЧТА

РАССКАЗЫ

Перевод
с литовского



СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
Москва
1964



С (Лит) 2
Д 58

Литовский писатель Йонас Довидайтис — автор многочисленных сборников рассказов, нескольких повестей и романов, опубликованных на литовском языке. В переводе на русский язык вышли сборник рассказов «Любовь и ненависть» и роман «Большие события в Науйяместисе».

Рассказы, вошедшие в этот сборник, различны и по своей тематике, и по поставленным в них проблемам, но их объединяет присущий писателю пристальный интерес к современности, желание показать простого человека в его повседневном упорном труде, в богатстве духовной жизни. Кто бы ни был герой Довидайтиса — учитель, врач, строитель, колхозник, — автора прежде всего интересуют в его облике черты советского человека, нашего современника.

СЕКРЕТНАЯ ПОЧТА



ыло уже за полночь, когда они обнаружили на краю болота то, что искали. Политрук Алоизас Вимбарас нагнулся, засунул свою громадную ручищу в темное дупло осины и долго копался в нем. Людвикас Пакальнишкис, парень лет двадцати, стоявший рядом с перекинутым через плечо автоматом, с интересом следил за Вимбарасом.

— В дупле полно всякого мусора... — как бы оправдываясь, сказал Вимбарас. — И птицы нагадили.

Над лесом висела ярко-желтая луна, разливая повсюду белесый, спокойный свет. От болота несло холодком, вокруг карликовых сосен лепились клочья тумана.

— Во, парень!.. Нашел!.. — обрадовался Вимбарас и выпрямился.

Он был крупный, широкоплечий, прямо великан рядом с Пакальнишкисом. Черный блестящий клеенчатый дождевик с широкими складками, перетянутый поясом, еще больше подчеркивал могучий стан Вимбараса...

Он протянул ладонь чуть не под нос Пакальнишкису:

— Видишь?

И парень увидел — на ладони лежала пистолетная гильза.

— Надежный почтовый ящик!.. С доставкой письма прямо в руки адресата!.. А? — радовался Вимбарас, уже бредя по мокрому лугу к лесу.

Под их ногами хлюпала вода, из кустов, несколько раз тревожно пискнув, выпорхнула испуганная трясогузка. Тьма проглотила этот писк.

Вокруг была холодная ночь.

Они уселись на пригорке, на брусничнике, автоматы положили рядом. Вимбарас лезвием ножика осторожно выковырял втиснутую в патронную гильзу бумажку, а Пакальнишкис полой прикрыл огонек зажигалки. Тихо шевеля губами, часто задумываясь, Вимбарас долго читал про себя записочку. Потом сунул в гильзу другой листочек, испещренный словами и цифрами.

Пакальнишкис был парень смекалистый и наблюдательный. Два дня назад он видел, как Вимбарас, примостившись в землянке из ельника, часто чинил карандаш старой бритвой и что-то писал на клочке папиросной бумаги...

Сунув в гильзу ответное послание, Вимбарас ткнул локтем Пакальнишкиса и поднялся. Они снова вернулись к дуплу.

— Сейчас только мы с тобой знаем сюда дорогу... Только мы! — сказал Вимбарас. — Хорошо присмотришься всему вокруг, чтобы в следующий раз прийти без меня и другого привести... Чтобы найти наш почтовый ящик...

И уже уходя от осины, он рассказал Пакальнишкису, как важна эта первая связь, которую пришлось искать месяц за месяцем. И вот боевые друзья протянули им руку. Важное письмо — в кармане. Договорились о месте встречи... Отряд Вимбараса, действующий в Аукштайти, далеко от основных партизанских баз, теперь не одинок! Товарищи обещают не только оружие, литературу, но и радиста с передатчиком... Кончатся мрачные и неопределенные дни.

Восход солнца застал Вимбараса и Пакальнишкиса далеко от болота. Они ходко шагали по лесным тропам,

часто пробираясь напрямик через сухие сосняки и молодые березняки, полагаясь только на компас.

В полдень стало жарко. Вимбарас расстегнул плащ. Пакальнишкис снял шапку и часто вытирал ладонью вспотевшую шею.

Привал они сделали у извилистого, маленького и очень прозрачного ручейка, песчинки на дне которого блестели как золотые.

Вимбарас растянулся навзничь, широко раскинул в стороны руки, закрыл глаза. Он с наслаждением вдыхал свежий, чистый воздух, будто желая больше вобрать его, а всю усталость отдать земле... Людвикас Пакальнишкис снял сапоги и мыл ноги — он натер пятку портянкой.

— Вот как скрещиваются жизненные пути... — вдруг начал Вимбарас. — Чистил я паровозные поддувала, заклепывал котлы, разбирал инжектор... Депо было для меня вторым домом. А вот разразилась война и забросила в лес, вооружила, заставила ходить по волчьим тропам... — Он замолчал, почему-то глубоко вздохнул (может, вспомнил где-то далеко оставленную, скрывающуюся семью). — А иначе и нельзя, Людвикас...

Вимбарас перевернулся и уткнулся лицом в мох.

Почему-то было страшно, даже жутко смотреть на этого беспомощно лежащего великана. Казалось, что какая-то неведомая скорбь, а может, неизбывная тревога грызет его сердце. Может, чудится ему домашнее тепло; может, слышит он смех своих детей или тоскует по земле, лопате; может, хотел бы сажать смородину или еще что...

Пакальнишкис выжал портянку, разостлал ее на солнце и зевнул. На портянку села большая синяя муха. Парень сломал гибкую веточку, осторожно нацелившись, хлестнул, но муха, жужжа, полетела как пуля.

— Было трудно, а теперь совсем другое... — произнес он как бы про себя. — Вот и связь у нас есть... Мы уже не одни...

Вимбарас прислушался. Вдруг он сел, улыбнулся, пригладил волосы.

— Разве сравнишь первые дни и сегодняшние... Тогда мы изворачивались, извивались, как дождевые черви...

Где, что, как — все было неясно... И сам, помнишь, каким пришел?.. Молодой парень, а заботы тебя словно бы выжали... «Помогите — гестапо меня ловит»... А теперь, брат, не ты их, а они тебя боятся... Все меняется, Людовикас. Еще годик, и вернемся домой. Не скрываясь, а во весь рост, каждого громко приветствуя... Настанет такой денечек! Ну, вставай, поднимайся, а то заболтались... — И Вимбарас неожиданно ловко вскочил...

Теперь он был опять тем же всем знакомым Вимбарасом — горячим, решительным, полным сил и желанья сделать что-то особенное, убедить каждого в своей правде.

Они шли по кладке через болото. С обеих сторон ее шелестел анр. Вимбарас с любопытством поглядывал на темно-зеленый омут, у которого тихо дремали старые, черные ольхи.

— Рыбы, рыбы-то здесь... — улыбнулся он и вдруг спросил Пакальнишкиса: — А от брата есть хоть какие-нибудь известия?

— Не видел его с тех пор, как из дому удрал... — тихо ответил Пакальнишкис. — Что же ему еще делать?.. Пашет, боронит... Не трогают его — видать, самогоном откупается. А может, и не догадываются полицейские, где я теперь. В Каунасе или Вильнюсе?

— А как к тебе брат относился?

— Да с холодком... Не раз твердил: «Твои разговоры — что мыльные пузыри. Сиди и помалкивай... Все пройдет, забудется...»

— Крестьянин... — как бы оправдывая брата Пакальнишкиса, махнул рукой Вимбарас. — Земля хорошая, скот, усадьба... Спокойный середнячок... Долго он приглядывается. Но кто знает, что он теперь думает? Знаешь, зайдем как-нибудь оба к нему... Потолкуете... А?.. Ведь сколько месяцев не видались.

И, должно быть, самому Вимбарасу понравилась эта мысль. Он даже пообещал — на следующую неделю отрядить Пакальнишкиса. Пусть встретятся.

По лесу плыл аромат сосновой смолы. От него кружилась голова, хотелось прилечь и заснуть. Партизаны обошли большой песчаный бугор — наметенный ветром курган, поросший скудной и колючей травой. Где-то в стороне осталась вдавшаяся в подлесок усадьба браконьера

Ненюса. Прошли они мимо старого кладбища, за каменной оградой. И опять ельники, темные, тихие, словно еще не проснувшиеся этим утром.

В полных солнечного света и путаных пестрых теней зарослях они снова остановились передохнуть. Вимбарас захотелось кисленького — он собирал заячью капусту и помаленьку жевал. Пакальнишкис прищурившись наблюдал за певчими птицами. Вот прыгает маленькая пичужка с красноватым хвостиком. Пташка, почуяв гостей, подает голос. Дальше, попискивая, снуют королюшки. Брызжут по зеленой чаще, как искры, и безостановочно свистят.

— Маленькая пеночка смеется и поет, даже заглатывая добычу, — рассмеялся Пакальнишкис...

Вимбарас о чем-то думал... Казалось, он недослышал Пакальнишкиса, только рукой махнул: хватит, идем... И парень послушно последовал за ним. «Еще час, и будем в лагере»... Людвикасу даже показалось, что он почуял дым от костра. Там ждет горячий завтрак, а потом отдых в палатке из еловых веток. Запахнет можжевельником, под носом прожужжит лесная пчела. Где-то далеко за холмом, покрытым елками, затрубит лось. Весело поскрипывая, будут шуметь широколапые сосны, клоня ко сну, смыкая веки...

Пакальнишкис вспомнил, как в начале войны в родную деревню приперлись метоновские полицейские. Мундиры свои они, видно, держали закопанными — форма была помятая, и сами прятались, как мыши, но теперь выглядели самодовольными, смотрели строго, разговаривали зычно.

— Не отлучаться дальше ста метров от дома, а то — расстрел! — приказали они, отбирая у него паспорт. — Твоим делом господин комендант займется!

И Людвикас подчинился приказу. Старший брат поглядывал на него озабоченно, даже с неприязнью.

— И надо было тебе бегать в местечко... — упрекал он его. — Нашелся политик... Молокосос!.. Какая власть бы ни была, она и без тебя обойдется... Чего доброго, еще пристрелят как собаку... А нас с хозяйства сгонят...

Людвикас не огрызался, не спорил, собирал щавель

по канавам, оглядывался, но все не решался... Ему только девятнадцать лет... В кармане ни копейки... Куда убежишь?

В конце концов полицейские уехали в другую волость. Там они расстреливали новоселов и евреев.

Людвикас все мешкал, никак не мог решиться. Родственников в городе у него не было... Паспорт забрали полицейские... Куда денешься? А побежишь да поймают — еще хуже... Опять же, он никому ничего плохого не сделал... Правда, бывал на собраниях, сажал в местечковом саду деревья, помогал строить трибуну... Собирался вступить в комсомол, но не успел... Но разве за это могут наказывать? На всякий случай Людвикас летом спал на заросшем ольхой обрыве, днем, если в усадьбе показывался незнакомец, он прятался за гумно или лез в малинник. Мало-помалу успокоился и брат. В хозяйстве нужны были рабочие руки. Прошел год...

Мысли Пакальнишкиса прервал Вимбарас.

— Давай собирать орехи! — предложил он. — Мы почти уж и пришли...

Кусты были облеплены гроздьями орехов. Людвикас рвал их горстями и запихивал за пазуху. В лагере ждет девушка... В походах она не участвует: готовит еду, шьет, лагает одежду. Хрупкая, слабая, бледная. Война ее застигла в шестом классе гимназии — казначеем комсомольской ячейки. Недалеко от латвийской границы ее схватили белоповязочники. Альдона шла на восток и несла портфель с документами, списками. За это ее нещадно били, а потом заперли в сарае. Ночью она прорыла руками дыру под фундаментом, вылезла и убежала... По вечерам Людвикас подолгу говорит с Альдоной. Недалеко от лагеря они облюбовали старую смолистую ель. Ее широкие ветвистые руки дают им кров. Вблизи журчит лесной ручеек, в нем отражается луна, мигают звездочки... Если пойдет теплый летний дождь, он звенит в ветвях, как тихая музыка, а у ствола, где сидят Людвикас и Альдона, не просачивается ни капельки. Там уютно, тепло и спокойно, словно в родном гнезде.

Пакальнишкис знает, кому достанутся орехи. Они сядут с Альдоной вечером под елью и будут щелкать их,

как белки, смотреть на золотистый отблеск луны в ручейке, слушать, как ухает во тьме совушка-вдовушка... И несколько не будет страшно...

Неподалеку в орешнике сопел Вимбарас.

Пакальнишкис, улыбаясь, протянул руку к лохматой согнувшейся ветке, но она была слишком высоко. А какие там чудные гроздья! По четыре, по пять орехов. И они будто улыбаются. Не достанешь, паренек с ноготок!..

Пакальнишкис ловко прыгнул, схватил ветку и пригнул ее — большую, беспокойно шелестящую.

Вдруг сквозь ветку он увидел незнакомого человека. Серо-зеленая форма, серо-зеленый шлем, настороженные глаза... Солдат стоял и, видимо, ждал Людвикаса. Они прекрасно видели друг друга. В сознание Людвикаса врезалось: шлем утыкан зелеными березовыми веточками, подбородок оброс рыжеватой щетинкой, а рот от напряженного ожидания раскрыт, мелкие зубы, словно обгрызенные.

Солдат, видно волнуясь, торопливо вскинул винтовку и, даже не прицеливаясь, выстрелил...

В ушах у Пакальнишкиса так грохнуло, как будто бы под ногами взорвался пороховой склад. Парень полетел куда-то, как ему показалось, в темную бездну... Он пошевелил плечом, головой, горячей рукой дотронулся до чего-то твердого и холодного. Земля... Пахло сыростью, папоротником. Черные шишковатые кусты орешника, вцепившиеся в землю, показались ему бесчисленными ногами врагов, окруживших его со всех сторон, готовых растоптать его. Пакальнишкис схватил свой автомат и застрочил. Обойма мигом кончилась. И тогда Пакальнишкис услышал ожесточенную пальбу в лесу. Стреляли почти без перерыва. Стучали пулеметы, трещали, как швейные машины, автоматы. Кто-то бегал, кричал, ругался, кто-то хрипел, будто его душили.

Пакальнишкис, как ящерица, полз, лежал под кустами, возле старых муравейников, прогнивших пней, в ямах с тухлой водой. Сначала и он стрелял, потом сообразил — у него осталось мало патронов. Тогда прекратил огонь, ждал, что будет дальше, и все не мог понять, как он остался живым. Даже сердито улыбнулся. Этот сол-

дат — ротозей. Так близко стоял и промахнулся... Но что случилось в лесу, что с лагерем, где Вимбарас? Не... не... не ранили ли Альдону? Пакальнишкис скрипел зубами от злости...

Выстрелы раздавались со всех сторон, даже, кажется, и сверху кто-то стрелял... Уловив минуту передышки, Пакальнишкис расстегнул куртку и пригоршнями разбрасывал по земле орехи — они мешали ползти, скрываться...

Стрельба стала затихать. Кругом шумел лес, высокие сосны качались и скрипели, как будто сердились за нарушенный покой.

Пакальнишкис наконец сообразил, где он находится. Когда кругом стало тихо, он осторожно вернулся к орешнику. Уже вечерело. Над лесом пронеслись, летя на ночь в болота, дикие утки. В фиолетовом от заходящего солнца небе слышался свист их крыльев. Проснувшиеся комары тянули свою назойливую песенку.

Парень вдоль и поперек исходил орешник. Рукою прикрыв рот, вначале тихо, а потом все громче он звал:

— Товарищ Вимбарас!.. Товарищ Вимбарас!.. Алоизас! Алоизас!..

Никто не отзывался. Словно земля проглотила его боевого товарища... Тьма спустилась на землю и слилась с лесом. Стало прохладно.

Пакальнишкис достал из кармана ломоть черствого хлеба. Но хлеб только царапал пересохшее горло. Черпнув из ямы пригоршню буровой, воняющей лесными клопами воды, он хотел напиться, но его затошнило. Выплюнул сухое горло, выплюнул противную воду.

С минуту Пакальнишкис посидел.

Возвращаться в лагерь или еще поискать Вимбараса? Может, он ранен? У него ведь важное письмо! Неужели он умер? Вимбарас часто учил своих соратников: «Ты возвращаешься с задания... Ты очень усталый. Может быть, даже раненый. Еле-еле передвигаешь ноги. И патронов у тебя нет... А нашел товарища в беде — остановись рядом, помоги ему!»

Пакальнишкис вскочил. Он решил еще полчаса поискать, как следует осмотреть кусты. По прогалине пробежала белка. Внезапно она приостановилась, вытяну-

лась, посмотрела на непрошеного гостя и двумя прыжками добралась до опаленной сосенки. Стремглав взлетев на вершину, села на ветку и опасливо поглядела вниз.

Отведя взгляд от зверька, Людвикас увидел что-то черное на земле, под опаленной сосенкой... Он подошел ближе и за грудой хвороста в темноте различил подбитые гвоздями сапоги. Полы клеенчатого плаща были широко распахнуты. Рука, откинута в сторону, казалось, только что выпустила автомат, который лежал тут же рядом. Пальцы партизана почти касались черной стали, будто он пытался добраться до оружия. Он лежал ничком, уткнувшись лицом в сухой, жесткий мох.

Пакальнишкис перевернул труп. Открытые, застывшие глаза смотрели вверх, на черное небо. Они странно блестели. Этот блеск не исчезал, хотя в лесу все больше темнело. Лицо Вимбараса было спокойное, холодное, губы крепко сжаты, на подбородке виднелся след запекшейся крови. Все было ясно. В чаще орешника гитлеровцы не нашли раненого...

Долго сидел Пакальнишкис возле товарища. Мало-помалу слезы высохли, он успокоился и как бы нетерпеливо выжидал: а может, еще проснется Алоизас Вимбарас, друг, с которым они сегодня утром здесь собирали орехи?

В лесу было темно и мрачно.

«Вот она — смерть... — думал Пакальнишкис. — Все кончено... Она идет рядом с нами. Алоизас, Альдона, я — все мы выбрали этот, а не другой путь... Кто присмотрит за могилой Алоизаса? За другими могилами? Кто соберет кости тех, которые погибли в лесах, утонули ранеными в трясинах, тех, кого разорвало на части гитлеровскими гранатами? Кто?.. Когда?.. Когда все это кончится? Вся Литва истекает кровью...»

Пакальнишкиса пробрала дрожь: он стучал зубами от холода, усталости и отчаяния. Наконец он встал. Борьба ведь не кончилась! Теперь он должен доставить это важное письмо. Он один знает дорогу к почтовому ящику. Он — единственный...

Пакальнишкис еще раз осмотрел Вимбараса, освещив электрическим фонариком, взял его сумку с несколь-

кими патронами, автомат, компас, вытащил из кармана календарь, между листками которого Вимбарас вложил секретное письмо. Все это надо было отнести в лагерь. В особенности письмо!..

Но письма в календаре не оказалось.

Вимбарас, наверное, уничтожил его.

Но Пакальнишкиса это не очень огорчило, ведь он знал содержание письма. И сейчас он сделал то, что мог: накрыл тело Вимбараса ветками. Завтра вернется с товарищами, и они похоронят... И не только похоронят — они и дальше будут сражаться так, как учил Вимбарас!

С трудом волоча ноги, Пакальнишкис брел к лагерю. Потянуло предраассветным ветерком. Деревья зашумели. С веток стали падать, словно слезы, капли росы. Начинаясь новый день. Что он принесет?

По знакомой тропе Пакальнишкис подошел к своему лагерю и остолбенел: его не встретил в обычном месте часовой, не спросил пароля. Можжевельник был пуст: на земле валялись медные гильзы, разорванные картонные коробки без патронов. Их катал ветер. Обгорелые, опаленные сосны дрожали.

Пакальнишкис нашел свежие могилы. Кто-то на скорую руку засыпал мертвых землей, но так торопливо, что кое-где высовывалась одежда. По одежде он и узнал товарищей.

У одной могилы Пакальнишкис остановился. Будто ножом полоснули по сердцу. Из-под дёрна торчала женская туфля. Красная, с черными шнурками. Из тысячи туфель он узнал бы ее...

Пакальнишкис долго бродил по мрачной поляне, ставшей кладбищем. Шел от одного бугорка к другому. И возвращался. Опершись на автомат, он долго стоял у бугра, скрывшего лицо, улыбку, смех, сердце и молодость Альдоны. Под этими грязными земляными комьями, кусками корней, пучками увядшего мха была похоронена его надежда, его звезда.

Куда теперь пойдешь, если звезда угасла?

Сухими глазами смотрел он на могилы, звал без слов товарищей, надеялся на невозможное. Вот шевельнется который-нибудь из них, сбросит с себя тяжелый земля-

ной покров, встанет, назовет его по имени, скажет: «Ведь ты не один... И я рядом с тобой...»

Но могилы молчали.

Погода испортилась. Начался дождь. Капли звонко хлестали по стволам деревьев.

Еще раз он обошел могилы. Сосчитал погибших. Много погибло. Но и в живых осталось немало... Только неизвестно, отступили они или попали в плен.

Пакальнишкис понял: нужно поскорее убираться отсюда. Если он найдет остальных, то поведет их к почтовому ящику. Туда придет связной с озера Нарутис. Тогда все вместе и решили бы, что дальше делать. Партизанские базы у озера Нарутис — это их надежда. Оттуда шли хорошие вести: взрывались эшелоны, пламя пожирало вражеские склады, целые районы были свободны... Большая база, конечно, поддержала бы их, прислала бы опытных командиров. Отряд снова встал бы на ноги...

А если не удастся собрать рассеянных по всему лесу партизан? Неужели опять придется скрываться одному, как лесному зверю?.. В родном доме его никто не ждет, даже боятся... Куда же тогда деться?

Дождь усиливался. Над свежими могилами стояла водяная дымка. По земле растекались лужи. В них плавали темные осиновые листья. словно озябшие, заблудившиеся дети, дрожали заросли можжевельника. Пакальнишкис подлез под старую ель, ту самую, которая принадлежала Альдоне и ему... От тяжелых, широких, темных ветвей веяло теплом. Пакальнишкис прислонил лоб к стволу ели и закрыл глаза. Долго так стоял.

Наконец он пришел в себя. «Нужно продолжать начатое Вимбарасом дело... Надо расплатиться с убийцами Альдоны... Да, да! Хватит здесь торчать!»

Пакальнишкис выскочил из-под ели. Дождь лил, как будто небеса разверзлись. Мутный ручеек вышел из низких берегов. По нему неслись черные заверти, крутя обломки сучьев. Сучья цеплялись за кусты, драли их зеленую одежду.

Нужно было переждать. Литовский дождь внезапный, но быстро проходит. Но у Пакальнишкиса не было времени. Ни минуты. Спрятав под ветками ели оружие

и полевую сумку Вимбараса, он взял только свой автомат. Он теперь хорошо знал, что делать. «Буду стрелять за себя, и за тебя, Алоизас, и за тебя, Альдона!» — шептал он.

Двое или трое суток ходил Пакальнишкис по опушкам, завернул в избенку лесника, узнал, что карательный батальон из лесу не угнал ни одного пленного. Значит, часть товарищей уцелела!

Под вечер Пакальнишкис, выйдя на вырубку, увидел повозку. Невыпряженная лошадь спокойно щипала траву. Пакальнишкис присмотрелся, кто же сюда приехал. А может, свои забрались в эту глушь? Как бы не так! Пакальнишкис вдруг увидел разлегшихся на траве полицейских. Он выстрелил первым, но и те не остались в долгу. Сообразив, что силы неравны, Пакальнишкис бросился бежать... И вдруг будто шило ткнули ему в ногу. Он бросил гранату и тотчас же услышал грохот, крики и хрип...

Стрельба продолжалась довольно долго. Наконец повозка загромыхала и все стихло.

Пакальнишкис, слабея, забрался глубже в чащу. Только здесь он увидел, что ранен в обе ноги. Но надо было идти дальше. Разорвав рубашку, он на скорую руку перевязал раны и пошел.

Когда в глазах стало рябить и темнеть, Пакальнишкис подстелил плащ и лег. Он старался уснуть — утро вечера мудренее.

Однако утром он уже не мог встать... Больше мучался от сознания своего бессилия, чем от боли в ногах. Ведь у него в руках был ключ от секретного почтового ящика! Неужели все усилия отряда установить связь пойдут насмарку?

Ночь сменялась днем, день ночью...

Пакальнишкису стало как будто легче.

Была теплая летняя полночь. Сквозь ветки мигали звезды. Казалось, что они искрятся тут же, в темной листве. От ветра звезды, как игрушки на елке, начинали качаться, вот-вот упадут, разобьются... Пакальнишкис скрипел зубами от боли. Его пугала левая нога: она вздулась и посинела. Кости жгло. Он чувствовал острую боль от пяток до затылка. Темнело в глазах, сер-

це билось как ошалелое. Хоть зубами цепляйся за корни!

Так он и умрет здесь со своей тайной.

И Людвикас вспомнил брата.

Другого выхода не было...

До родной деревни — десять километров. Далеко. Но это его не пугало. Он помнил все лесные тропы.

Начало светать. Пакальнишкис с трудом дополз до вырубки, пожевал земляники, а потом нашел два обломившихся сука и, опираясь на них как на костыли, пошел. Однако шел недолго, вскоре свалился. Ноги не слушались его. Тогда попробовал ползти. Он медленно продвигался, как гусеница, извиваясь между деревьями и пнями, угадывая север по мху на толстых пнях...

Снова спустилась темная ночь. Жажда мучила, а росой нельзя было ее утолить. Горели щеки, левая нога ужасно отяжелела, мускулы рук слабели, пальцы беспомощно раздирали мох. Тело больше не продвигалось вперед... Это уже конец?

Пакальнишкис лежал навзничь, его лихорадило. Думать было трудно. Перед глазами плыли красноватые облака. Мерещилось, что кто-то тащит его на гору, а по ту сторону острой вершины зияет черная, полная палящего зноя пропасть, и сейчас он покатится в нее по крутому обрыву...

«Если придут... дети собирать ягоды... или же дряхлая старушка... — думал Пакальнишкис какими-то обрывками, — я скажу: «Куку-куку...» Их это напугает... Они отнесут письмо брату. Он зпряжет пару лошадей в бричку... Накроет сидение клетчатым ковриком... Так, как мы ездили на престольные праздники... Лошадей уберет цветами... На лужках полно желтых калужниц... Звякают уздечки... Громяхают железом окованные колеса... А прилетит ястреб за курами — я его... трах... из автомата».

Послышалось ли Пакальнишкису или это было на самом деле — где-то в далеком селении звонили в колокол. «В местечке — костел из тесаного камня... — вспомнил раненый. — А на колокольне сколько голубей!..»

Не раз перелезал Людвикас с другими мальчишками через забор костельного двора и взбирался по прогнив-

шей лестнице на звонницу. Они хватали сидящего на перекладине под крышей трепещущего от страха голубя. Кто-нибудь из них совал его за пазуху — и все бегом вниз... Богомольные бабы их подстерегали, стегали прутьями и кричали: «Безбожники, бесстыдники!.. Святотатцы, руки у вас отсохнут!..» А маленькие святотатцы громко смеялись и гладили теплую птицу... И убегали от злых баб...

Ах, будь теперь у него здоровые ноги!

На лице Пакальнишкиса выступил холодный пот.

Ему смутно слышался веселый писк трясогузок. Потом глаза заволокло туманом, огонь в костях потух.

Когда Пакальнишкис проснулся, была глухая ночь. Которая уже ночь? Луна золотила вздохмаченные облака. Устремив взгляд на холодное небо, Пакальнишкис лежал и размышлял — к нему вернулось сознание...

Когда он был маленьким, мать говорила, что там высоко живет бог. А солнце — это божий глаз. Теперь он знает: нет никакого бога. Об этом часто толковал Вимбарас.

Влажная трава щекотала ему щеки. Он жадно лизал росу. Прохладная темнота пахла ежевикой. Эти ягоды мерещились ему как недостижимое блаженство, добраться до них не хватало сил. Вялые облака медленно плыли своей темной дорогой. Пакальнишкису показалось, что над ним течет огромное озеро... Он открыл рот, ждал льющейся струи, ждал прохладной, оживляющей воды.

Под утро он увидел, как блестит серебром ива.

А потом сознание опять затуманилось, его охватило благодатное спокойствие.

Пакальнишкиса разбудили чьи-то голоса. Неподалеку топтался круглый старичок в коротких, до щиколоток, пестрядинных штанах. Он кому-то говорил шепелявя:

— Тут самое лучшее деревцо... Только смотри!.. А там увязнешь до пупа... Как этого цёртушку вывезешь?

Его собеседник — крепкий, спокойный, широколикий — с топором в руке, закинув голову, осматривал деревья.

— Ну, пусть уж мое пропадает... Возьмем твое,— пробормотал он.

Пакальнишкис узнал обоих — соседи. Приехали лес воровать. Рослый — Блажайтис. Он жил рядом. Спокойный, не надоедливый. Ему можно довериться... Но старичок не нравился Людвикасу. «Язык у старого Чичириса до самых колен...» — говорили в деревне. Надо или не надо — Чичирис слонялся под соседскими окнами, прислушивался к чужим разговорам. Вертелся по вечерам и у чужих клетей — все ему хотелось разузнать, все увидеть, чтобы потом чесать языком. Не в новинку было старику получать по шее за болтовню и клевету. Однажды его сунули в мешок, в другой раз он потерял передние зубы, очутился без штанов в крапиве... Однако не бросил своих привычек: не мог жить без чужих секретов, словно белены объелся.

Пакальнишкис лежал не шевелясь и молчал. Он долго ждал помощи... И вот — точно горькая насмешка. Чичирис! Что знает старик, то услышит вся деревня, то разведает и полиция...

— Сестное слово, суринок, тяну пилу изю всех сил! Сего ты, как ез?!

Лесорубы отскочили от подпиленного дерева. Ветер толкал ствол развесистой сосны, ерошил ее зеленую, густую крону. Надрез ширился. Дерево, как будто оглядев последний раз ширь леса, с жалобным стоном повалилось...

Пакальнишкис с ужасом смотрел на эту сосну. Дерево падало прямо на него... Но закричать, предупредить — не было сил. Губы будто кто стиснул — они одеревенели. И он лишь тихо охнул и закрыл глаза. Вот какой конец!

Сосна упала на него... От порыва ветра у парня даже дыхание захватило. Дерево с такой силой рухнуло наземь, что Пакальнишкиса подбросило с его моховой постели. Лицо осыпали мелкие ветки. В ушах звенело, слышался какой-то нескончаемый ужасный свист... Парень очнулся, когда услышал удары топора. Обхватив ногами ствол сосны, Блажайтис обрубал ветки. «Я еще жив? — изумился Пакальнишкис. — Как же это случилось?» А случилось так, как редко бывает... Большая и толстая ветка, самая длинная рука сосны, лежала тут же, совсем рядом, — если бы он перевернулся на бок,

мог бы губами достать зеленую шишку, зубами попробовал бы хвон.

Блажайтис подошел совсем близко, замахнулся топором и вдруг опустил его... Он увидел раненого и удивленно смотрел на него.

Пакальнишкис шевельнул рукой, приподнял палец, моргнул глазом. Молчи, ради бога! Не выдавай! А второй рукой нащупывал и никак не мог достать оружие.

Блажайтис нагнулся, осмотрел парня, словно какую-то необычную находку, и его лицо потемнело. Он кивнул головой — значит, все понимает, потом обернулся угрюмо, подумал, не спеша поднял упавшую ветку, большую, косматую, и осторожно, как одеялом, накрыл ею парня.

— Ты ли это, Людвикас? — в замешательстве прошептал Блажайтис. — Это вы здесь перестреливались?

Пакальнишкис лишь шевельнул губами. Слово он так и не промолвил, с его губ сорвалось только тихое «тсс»...

Блажайтис куда-то пошел, еще постучал топором, потом опять вернулся. Что-то упало возле Пакальнишкиса. Раненый искоса посмотрел — рядом лежала засаленная сумка. Через дырку виднелся ломоть хлеба...

— Эй, Чичирис... — хрипло произнес Блажайтис. — Ох, ох... что это со мной? Ох, как болит в пояснице... Черт побери!..

— Опять у тебя эти пѳецки, суринок... — сказал озабоченный Чичирис... — Дрянь теперь, а не самогон... Разъедает целовека... Я эту гадость только с луком глотаю... Говорят, лук весь яд вытягивает...

Блажайтис съежился, поохал, а потом сердито сказал:

— Хватит мучиться на сегодня!.. Не выдержу! Едем в деревню, Чичирис. А дерево под вечер привезем... Может, баба сыщѳт какое-нибудь лекарство — пройдет до захода солнца.

— Как же теперь, суринок? — возражал Чичирис. — Раз, два — и все наладим... Еще лесник найдет... Насмарку пойдет весь наш труд... Сколько сделали — зук больше нацихает...

— Ну! — резко сказал Блажайтис. — Пойдем домой. Из-за бревна не хочу жизни лишаться. В пояснице

ломит — словно гвоздь вбили... Ох... Идем... Бери пилу!..

Еще некоторое время было слышно, как ворчал недовольный старик, но Блажайтис не поддавался. Шаги отдались. Опять стало тихо в лесу. Пакальнишкис схватил брошенный хлеб и стал грызть, сосать. В глазах рябило от голода. Парень торопился. Ему чудилось, что кто-нибудь может у него отнять этот кусок.

Но он скоро наелся, проглотил несколько кусков и устал. Глаза закрылись. Он задремал.

И вдруг он почувствовал, что его кто-то дергает за плечо:

— Людвикас... Людвикас...

Перед ним стоял брат — неуклюжий, с худощавым лицом, запавшими холодными глазами. В руках у него была коса. Невдалеке фыркала лошадь.

Людвикас хотел что-то сказать, но его пожелтевшие щеки лишь чуть-чуть шевельнулись, жалкая улыбка пробежала по его восковым губам.

— Иначе и не могло быть... — произнес брат ни сердито, ни грустно. — Немец тебя не убил, так дерево чуть-чуть... Не в грудь ли попало?

Людвикас удивлялся брату, Стяпонас был вспыльчивым, нервным, часто ругался. В доме было его слово свято. Не смей рта раскрыть и противоречить! Теперь же он был какой-то подавленный и усталый. Словно за эти несколько месяцев его кровь остыла.

— Эх, дитё ты, дитё... — только и проговорил он и, отвернувшись, стал махать косою.

Сталь сверкала в высокой траве. По резким взмахам Стяпонаса Людвикас понял: брат злится и очень беспокоится.

Людвикас не понимал, почему брат косит в лесу траву, и ему казалось, что это все сон, что Стяпонас только померещился... Здесь не он сам, а только его тень...

Но брат был живым, настоящим, а не привидением. Он остановился передохнуть, утер ладонью блестящее от пота лицо и, поморщившись, будто у него болел зуб, спросил:

— А где остальные твои товарищи?

Людвикас только повел плечами.

— Скрываешь?.. — кисло произнес брат. — Всю подноготную знаю... Видел... Скрывай не скрывай — все знаю...

Он набросал в телегу свеженакошенной травы, разровнял.

— Лезь, вояка... — не то со злобой, не то с горечью приказал он. — Не шевелишься? Бомбой ноги раздробило? Ну покажи...

Людвикасу стало горько. Брат все такой же злой, недовольный, строгий. Он прошептал с яростью:

— Я тебя не просил!.. Оставь меня здесь! Иди, откуда пришел...

Удивленный Стяпонас только присвистнул:

— А бока не пролежишь ли от такого лежания здесь? Крест себе еще до смерти ставишь, упрямишься... Говорить по-человечески разучился... — И, ухватив Людвикаса за подмышки, потащил к повозке... — Лежи и молчи, пока еще с душой не расстался...

Людвикасу хотелось обнять брата, сказать что-нибудь ласковое, но он утонул в траве и закрыл глаза. Осока колола ему лицо, лезла в рот, голова кружилась от запаха подлесника. Брат бросил на него еще большую охапку травы.

— Не шевелись, не стони... — учил он Людвикаса. — А то наохаешь мне тюрьму...

Он еще бросил несколько больших охапок травы, оправил ее, чтобы не было видно ног и плеч. Какие-то жучки жужжали и гудели в траве, лезли за ворот. Людвикасу хотелось чихать и кашлять, его душило тепло.

— А ты сто тут делаешь? — услышал Людвикас голос Чичириса. — Не наше ли деревсо собираешься украсть?

Брат отрезал неожиданному гостю:

— А, это твоих рук дело? Хорошо, что нос сунул, а то я бы и сосенку увез...

— И не смей... — погрозил Чичирис. — И припер же ты за травой в такую чащу. Будто возле деревни нет?

— Завтра на базар поеду... Может, наберу воз... — оправдывался брат. По его голосу Людвикас понял — неприятна эта встреча Стяпонасу.

— Я залезу на воз и притопсу травуску...— предложил свои услуги Чичирис.— Хоросо?

— Но-о! — сейчас же стегнул лошадь кнутом Стяпонас.— И так сойдет! А ты чего зря слоняешься? Вези свою сосну. Давеча я лесника видел. Пошел к Волчьему рву... Может и сюда завернуть...

— О, господи бозе...— испугался Чичирис.— Этот Блажайтис — сёрт, а не селовек!.. Как баба расхворался. Не идет сегодня в лес, и всё... Погубит он меня...

Еще некоторое время Чичирис плелся рядом, ухватившись за грядку телеги, и все болтал. А потом свернул на вырубку — видно, решил зайти к браконьеру Ненюсу. Может, уговорит того помочь вывезти краденое дерево?

«Куда меня Стяпонас везет?» — думал Людвикас. Ноги опять заболели, но боль была терпимой. Когда человек не одинок — и помирать легче, а не только болеть.

А Стяпонас, идя возле воза, все подробно обдумывал. Он с братом почти не говорил, только изредка, стукнув кнутовищем по грядке, справлялся:

— Жив еще ты?..

Из травы отзывался глухой, слабый, но довольно веселый голос:

— Бывало и похуже...

Воз остановился. Брат снял сверху траву, и Людвикас увидел колодезный журавель, обросшую зеленым мхом крышу гумна, гнездо аиста, услышал трескотню флюгера на колышке над хатой. Родной дом!

— Но они нагрянут сюда и найдут меня...— прошептал в испуге Людвикас.

— Молчи! — предупредил его брат.

У гумна лежала груда камней. Стяпонас давно мечтал построить новый дом, запасался материалом. Как только Блажайтис сообщил, что в лесу лежит брат, еле живой, — не показывая, что спешит или взволнован, ничего не сказав даже семье, Стяпонас вытащил из-под навеса деревянный ящик, тот, в котором он возил на базар бекон, велел жене его вымыть горячей водой. Потом снял часть камней, поставил ящик в самую середину груды. И опять обложил камнями. Затем перета-

шил отсюда собачью будку и цепь привязал по-другому.

Когда стемнело, Людвикас, уже умытый и накормленный, перевязанный чистыми холстяными бинтами, очутился в этом ящике... Стяпонас завалил его камнями.

— Если собака начнет лаять,— учил он брата,— лежи и ни звука... Значит, чужаки на усадьбе...

— Спасибо, Стяпонас...— прошептал Людвикас.— Не забуду...

— Баринном ты в лесу стал...— грубо ответил старший брат.— Вежливый какой... Разве это милостыня или благодеяние? Ведь одного отца дети, как мне помнится... Ну, лежи,— может, лекарства добудем...

Людвикас крепко спал всю ночь, проснулся только утром. Шел дождь. Вода сочилась через щели, было сыро. Пробирала дрожь.

Невестка, маленькая, живая бабенка, кормила его как можно лучше: варила суп из курицы, жарила яичницу с ветчиной, приносила только что сбитое масло, ломоть хлеба с медом.

— Холодно здесь и сыро, солдатик ты наш...— говорила она.— Ты побольше ешь — все теплее будет...

В местечке у аптекаря работала кухаркой дальняя родственница невестки. Невестка наконец уговорила помочь им. Та стала союзницей, сама не зная, кому помогает. И Людвикас получал лекарства: порошки — принимать каждые два часа, бурую горькую жидкость — по столовой ложке три раза в день, и еще лекарства, помогут или повредят — никто достоверно не знал... Выбирая лекарства, кухарка сама невинно спрашивала провизора, доктора и фельдшера, что делать, если человек лежит в жару, если нога гноится, если крови много утекло...

Людвикас, лежа в ящике под камнями, очень ослаб. Проснувшись, он слышал, как шлепают рядом лягушки. Иногда они заползали ему на руку или прыгали на горячее лицо.. Его одежда провоняла плесенью, гниловатой сыростью, прокисшим потом.

Через неделю ранним утром явилась полиция.

Собака отчаянно лаяла, неистовствовала на це-

пи. Людвикас припал ко дну ящика и тихо лежал. Маленькая щель в камнях была его единственным окошком.

Полицейские окружили хату. Они обыскали всюду, отодрали доски пола, лазили в печку, обшарили чердак, хлев, дровяник, гумно и клеть, истыкали штыками землю в цветнике, вдоль и поперек исходили ржаное поле.

Между ними вертелся и старик Чичирис. Он якобы зашел за рубанком и, как лисичка, крадучись, брел по саду, огороду.

Начальник полицейского участка Ряпшис и гестаповец, закончив обыск, сели на груду камней. Людвикас слышал каждое их слово.

Ряпшис оправдывался — сведения достоверные. Вот человек, тот босоногий старик, нередко видел жену Пакальнишкиса в аптеке, хотя дома у них никто не болеет...

Немец приказал выставить засаду. Пусть несколько ночей караулят за изгородью огорода.

Когда неожиданные гости убрались, Стяпонас пришел посидеть на груду камней и выкурить трубку. Услышав, что Людвикас узнал, он взбеленился.

— Ах ты, старая падаль!.. От Чичириса всегда разит гнилью. Видно, придется ему косточки пересчитать. Или же язык вырвать... — А уходя, ободрил брата: — Держись, Людвикас... Нам ничего не осталось... Или все погибнем, или вернем себе счастье...

Ах, как хотелось Людвикасу в этот момент обнять своего угрюмого старшего брата и крикнуть: «Стяпонас! Теперь мне не стыдно было бы привести в этот дом Алоизаса Вимбараса!»

Залаяла собака. Тропинкой мимо-капустного поля плелся в усадьбу почему-то унылый Чичирис.

— Осень рад, соседуска, сто нисего и никого не насли...

— Видишь? — показал Стяпонас Чичирису старый развесистый у клетки вяз.

— Визу, а сто тут такого?

— На нем тебя повесят... Прямо за твой длинный язык... А теперь беги отсюда не оборачиваясь — сейчас возьму дубину, кости тебе почесать...

— Озверели люди!.. — пискнул в испуге Чичирис

и сейчас же дал драла из усадьбы.— Содом и Гоморра в святой Литве! — кому-то угрожая, размахивал он кулачком.

Вечером у забора усадьбы Стяпонаса показались два парня в зеленых маскировочных плащах. Они держались поодаль, избегали встреч с людьми, курили сигареты, пряча их в горсти.

Три дня Людвикас голодал в своем укрытии.

Прошло еще немного времени. Ноги у Людвикаса немного зажили. Он мог уже вставать и ночью даже ходил по саду...

Стяпонас собрался увезти брата. Взял мешки, набил их мякиной, с вечера смазал дегтем колеса. На рассвете Людвикас лег ничком в повозку. Стяпонас наложил на него мешки с мякиной и, перекрестившись, сев на передке, тронул вожжами лошадь. Не спеша проезжал он деревню, спокойно здороваясь с соседями.

У развалившегося забора Чичирис что-то тесал.

— На мельнису? — осведомился старик.

— На мельницу...— ответил Стяпонас, хлестнув лошадку кнутом.— Но-о!..

— Вкусный будет хлебес, хотя твоя розь была плоховата...— прошамкал Чичирис.— И на базаре будесь?

— И на базаре...

— Стобы немного попоззе — я бы тозе с тобой поехал...

— Доберешься и пешком, не ахти какой барин...

Повозка покатила под гору, колеса загромыхали по мосту.

Стяпонас остановился, как они договорились, у Волчьего рва.

— Ну, прощай, Людвикас...— как-то тихо и грустно сказал Стяпонас, оглядывая похудевшего брата, который довольно ловко выбрался из повозки и перекинул автомат через плечо.— Бросил ты плуг, что с тобой поделаешь...— продолжал брат.— Как-нибудь и один справлюсь, пока не вернешься. На страду толоку созову... Мать, дети помогут... Только не лазь ты там вслепую! Если даешь кому-нибудь по загривку, то уж так, чтобы самому вдвое больше не получить...

Садясь в повозку, Стяпонас еще раз посмотрел на

брата, словно хотел запомнить его, потом опустил голову и, не глядя в глаза, спросил:

— А куда идти — тропинки хорошо знаешь? Один опять не останешься?

— Да уж... — произнес Людвикас и как-то необычно заморгал. Не желая показать своего волнения, он помахал рукой, повернулся и быстро зашагал в сторону леса.

Людвикас искал глазами далекое, забытое дупло.

Сохранился ли на старом месте секретный почтовый ящик?

ПОЕЗДКА НА ЗМЕИНОЕ БОЛОТО



сидел в маленькой провинциальной чайной и ел норвежскую селедку с горячей картошкой, запивая жиденьким каунасским пивом. Отворилась дверь. Вошел хорошо сложенный, сурового вида путник. В темно-синем комбинезоне, в кожаном шлеме, в очках мотоциклиста. За плечами у него был брезентовый рюкзак. Громко стучали подбитые подковами каблуки.

Все с любопытством посмотрели на вошедшего. В этом отдаленном местечке незнакомым интересуется каждый.

Незнакомец приподнял очки. Тут я его узнал. Про-
раб-мелиоратор Гелгаудас, с которым я недавно встретился в Каунасе и сыграл партию на бильярде. Хорошо катает белые шары!..

— Куда едете?

— К реке Скрядупис, за Змеиным болотом. Наш участок!..

Я обрадовался. И мне в ту сторону. Жду не дож-
дусь грузовика мелиораторов.

— Подвезу, — сказал Гелгаудас, нагибаясь над та-
релкой с горячей фасолью.

— Может, бутылочку вина? — предложил я своему попутчику.

— Нет. Сам правлю машиной. А кроме того — рабочее время.

Через несколько минут я удобно устроился на заднем сидле мотоцикла. Гелгаудас прикрыл лицо очками, и мы рванулись с места.

Мотоцикл понесся по извилистой проселочной дороге. Мимо проплывал старый лес.

Пятнадцать лет назад мне приходилось бывать в этих местах. Помню заваленные снегом трясины Эменного болота, скованную льдом реку Скрыдупис, унылый, таинственный лес. Наша поездка тогда была странной, наугад, без дороги. Морозным зимним вечером мы заблудились в лесу и поехали, ломая автомобильными колесами сухой ледок лужиц. Напрасно развтывали карту. Кругом — никаких усадеб. А мороз крепчал, наступала темнота, вокруг был незнакомый и дремучий лес.

Лишь в полночь мы увидели маленькие, как волчьи глаза, первые огоньки селения Райстине. Остановили нас солдаты. Офицер повел в жарко натопленную избу. Долго и с удивлением он смотрел на наши лица и документы.

— И вы проехали этой дорогой? Только что, ночью? Благодарите свою звезду!

— Что же случилось?

— Разве не видели на обочине обломков грузовой машины?

— Да, заметили какую-то кучу железного лома, но ведь через Литву прокатилась война — мало ли осталось разбитых и поврежденных машин? Кто их сосчитает!

— Там лежит наш грузовик с печеной картошкой. Вчера утром заброшенные немцами диверсанты сожгли его, а шофера убили. Диверсанты разгуливают по окрестности, которую вы, товарищи корреспонденты, только что проехали.

По спинам у нас пробежали мурашки.

Офицер закончил:

— Диверсанты окружены. Никуда не уйдут: Они теперь там, при дороге, сгучились... Но ненадолго...

Как это все было давно. Пятнадцать лет!

Мотоцикл несколько раз подпрыгнул, налетев на корни, и мотор заглох. Он храпел, покашливал, трещал, наконец совсем умолк. Гелгаудас повернулся ко мне, виновато посмотрел и горько усмехнулся. Но тотчас же, полный решимости, принялся хлопотать вокруг машины, что-то отвертывал, закручивал, разбирал. Куча разных железок быстро росла на посланном куске брезента. Я посмеивался: что водитель разберет мотор, а потом соберет — полтора.

Ремонт затянулся. Я лежал на постели из зеленого мха. Слушал, как ветер шуршит в ветвях деревьев. Груды белых облаков накрывали старый лес. Торжественно и величественно дышала природа. Сколько она видела запутанных человеческих судеб, сколько горя, обмана, ненависти и крови...

Разве так легко убежать от прошлого? Взять хотя бы жителей Райстине, которых я встретил тогда... Давно это было, пятнадцать лет назад...

— Где волостное начальство? — спросили мы офицера. — Нам нужно его найти.

— Парторга вы не встретите. Его убили и сунули под лед Скрыдуписа. Мы нашли только его планшетку, лужицу крови и простреленную шапку... Весною, может быть, река отдаст труп.

— А председатель?

— Где он ночует, и не знаю. Каждую ночь в другом месте. Завтра, должно быть, придет... Встретитесь!

Мы сидели за столом из еловых досок. Мерцала коптилка, мы делали пометки в своих записных книжках. Кое-что нам рассказывал хозяин хаты, крестьянин лет пятидесяти, с высоким лбом, с зачесанными вверх светлыми волосами. Не ложился спать и старичок с редкой седой бородкой, большими, водянистыми и слезящимися от дыма коптилки глазами. Он внимательно слушал нас, иногда вставляя:

— Мне девяносто три... Честь была бы для всей деревни, если дотяну до сотни... Но страшные теперь времена... Вряд ли выдержу.

— Не понимаю... — не обращая внимания на старичка, говорил хозяин. — За что они нашего парторга?

Сердце разрывается. Человек вернулся из России... Храбро воевал, руки лишился... Мог остаться в городе. А он на наше Змеинное болото пришел. О хлебе, о канавах осушительных, о школе, то и дело толковал. А ему за это — пуля в затылок. И под лед.

— Кто же убил?

Крестьянин пожал плечами:

— Разве порядочный человек поднимет руку? Кое-кто видел здесь Куприйонаса... Сорок гектаров, мельница, лавка в Райстине. Только ему одному разговоры о новом поперек горла были. Он как букашек давил раньше бедняков... Всем своим детям дал в городе образование, а нашим приходилось довольствоваться лягушечьим кваканьем в болотах. Наши полоски дерюгой прикроешь. Всю зиму дети в хате сидят, обуться не во что. А Куприйонас даже на водочный склад за товаром в санях ездил, с бубенцами. Как перед ксендзом со святыми дарами, звякал колокольчик в честь его мощны...

Увидев, что я стал что-то записывать, крестьянин махнул рукой:

— Не пиши. Фамилли, милый, боже сохрани, не упоминай. Придет — убьет. Зубы у Куприйонаса как у хорька. А ведь хочется и нам дожить до новых времен, еще кое-что увидеть своими глазами, как парторг высказывал, — вечная ему память. Угробили его разбойники... И за что?

— За вас. И за детей, которые не имеют во что обуться и не ходят в школу.

Девяностотрехлетний старик перекрестился, а его сын подпер рукою подбородок и глубоко задумался.

За стенами избы в верхушках деревьев выл ветер, крылья сосен бились о ставни. Небо мешалось с землей, оплакивая незнакомого мне одирукого человека, проливавшего кровь за родину, отважно бывшего гитлеровцев, вернувшегося в родную деревню с любовью к людям... И вот этой ночью он где-то лежит подо льдом реки Скрядупис... За веру в живого человека и его счастье, за щедрое, для других раскрытое сердце ему заплатили пулей из немецкого пистолета... Может, убийца и перекрестился перед тем, как идти в засаду.

Или даже исповедался после того, как черная прорубь проглотила труп... И просил у неба благословения, чтобы жернова его собственной мельницы шумели, чтобы его сыновья и дочери поднимались по ступеням науки с приданным, выгодными сделками, прибыльными покупками-продажами, чтобы глубоко и удобно уселись они в казенные кресла.

А человек подо льдом уплывает дальше, а может быть, где и зацепился за водяные заросли и лишь весною выплывет. Тогда он поглядит, каковы его родные места, что делает простой человек, упорно ли он защищает свое счастье.

Его глаза, хоть и безжизненные, увидят.

Его сердце, хоть и мертвое, забьется.

Его рука, хоть и окоченевшая, поднимется, приветствуя родную землю.

А может быть, он и не умер?

На следующий день около полудня пришел и председатель волостного исполкома в сером полупальто с порванным рукавом. Впалые глаза под черными густыми бровями блестели тревогой. Он снял обшитую заячьим мехом шапку, сел за тот же стол, что и мы, и хмуро улыбнулся. Следом за ним вошла вислоухая собака и легла под столом.

— В нехорошее время вы приехали, — сказал председатель. Голос у него был грубый, глухой — как у простуженного человека.

— Стреляют?

— Стреляют, сволочи... — ответил он и уставился на чисто вымытую столешницу.

Нижняя губа у него дрожала. Он был сам не свой.

Землю они уже поделили. Распределили плуги и лесоматериал, дали безземельным коров, лошадей, телеги. Не забыли про семена на весну. А вчера в саду школы собрали толоку и обвязали фруктовые деревья. Много осенью посажено новых деревьев. И у большака молодежь садила... Советскими деревьями их назвала.

— Деревья — это жизнь, — сказал наш новый знакомый. — Прохвосты их ломают, а мы садим... А де-

ревья любить нас научил Таурагис, здешний учитель. «Деревья — это жизнь, — говорил он. — Всех побегов не переломашь».

Хозяин избы встал и куда-то вышел.

Таурагис... Видно, дорогá моему собеседнику эта фамилия.

Таурагис устроил в Райстине школу. А кругом был земельный голод — крестьяне утопали в болоте, где лишь кулики прыгали с кочки на кочку. Все говорили о парцелляции имения. К каждому участку протягивались жадные, стосковавшиеся по хлебу руки. Но имения никто не делил. Только для школы была отрезана полоска. Таурагис собрал толоку и насадил прекраснейший фруктовый сад. Деревца укоренились. А летом, когда Таурагис был в отпуску, крестьяне ночью вырубили сад. Мол, земля должна хлеб рожать, хлеба не хватает. Вернулся Таурагис — а там лишь кладбище черных кольев. Оплакивал учитель свой сад. Но он не покинул деревни, все начал сызнова.

— Вы темные как ночь... — говорил Таурагис. — Но я вас люблю... И никуда не пойду, останусь здесь. Буду тянуть лямку с вами до своей могилы. Все мы можем ошибаться...

— Тогда я еще ученическую куртку носил, сам сажал эти деревца... И Таурагиса помню, словно он сейчас за этим столом сидит... — сказал председатель.

— А где этот учитель? Жив еще? — спросил я.

— Разве тогда долго могли жить те, которые думали не о себе, а о других? Скончался он в тюрьме. Засудили за коммунизм. Дожил до сорока и умер в арестантской одежде. Положили его в некрашенный гроб и похоронили где-то на кладбище без надписи... Приезжайте весной... Цветут, шелестят деревья. И словно живые говорят — никто нас не уничтожит... Одно падет, другое встанет.

— А теперь вам трудно? — напрямик спросил я председателя.

— Нужно... — ответил он коротко и серьезно. — Моего предшественника убили. Может быть, и для меня

черный день настанет. А нужно! Бросить всё и уйти не имеем права.

Прощаясь, председатель крепко пожал мне руку, посмотрел на меня глубокими глазами из-под густых бровей. До сих пор не забыть этого взгляда! Мне показалось, что я вижу и огорчение, и вызов, и небывалую решимость.

Может быть, мы все такие, когда нам грозит смертельная опасность?

Вернулся хозяин. Он рассказал, что с самого утра жители ужасно взволнованы. Вчера, по дороге из школы, исчез сын председателя. Председатель — вдовец, жена умерла при родах, единственной его радостью был шустрый и способный мальчик. Пареньку было двенадцать лет. Первый ученик в классе. И вот пропал бесследно...

Старичок слез с печи, он очень удивлялся, что отец пропавшего мальчика только что был здесь, беседовал со мною и ни словом не обмолвился о своем несчастье.

— Ну и скрытный... — прошептал старик. — А он мог первым сказать нам о своем горе, своей боли...

— А может, волки? — произнес мой попутчик фотограф. — Под Мажейкяй растерзали они девочку... Только весной, когда снег растаял, нашли ее деревянный ранец-короб и кожаные туфли.

— Волки, да не той породы... Почтальон издали видел... Какой-то мальчик шел между двумя вооруженными. Еле-еле ноги передвигал... В лес повели. Амины!

И крестьянин, даже не сняв ушанки, бросился к ведру и жадно стал пить холодную воду.

Старик прошептал:

— Ах, господи, да чистое светопреставление! Не прожить мне столько, сколько положено...

Вот как встретили нас пятнадцать лет тому назад Райстине и леса вокруг Змеиного болота.

Позже дороги завели меня в другие места Литвы. Слышал я много других запутанных, страшных историй. Но часто мне вспоминался человек, с которым я говорил про сад, деревья и новые их ростки... А потом до меня дошла весть о том, чего мне так не хотелось

бы услышать. Председатель Райстинского исполкома — храбрый защитник обездоленных — принял последний бой. Гранатой ему оторвало ногу. Лежа в озере собственной крови, он стрелял до последнего патрона. Труп его бандиты привязали к лошади, долго тащили по дороге и лишь на рассвете бросили на перекрестке.

Но разве погибла новая Литва?

— По коням! — весело крикнул Гелгаудас, починив мотоцикл. Пучком мха чистил он свои запачканные маслом руки.

Наша «лошадка» мчалась по извилистой лесной тропе. Из орешника выскочила тонконогая серна, прыгнула наперерез дороги и, одурманенная страхом, вытянув шею, понеслась во всю прыть через валежник.

— Эй! Эй! Эй!.. — весело крикнул водитель. — Куда бежишь, красавица?

Сквозь чащу мелькнул просвет. Показалась поляна с кривыми и чахлыми ольхами, с широкими простынями зеленых папоротников.

Узкая лесная тропа исчезла, вливаясь в дорогу, которую проторили тракторные гусеницы и шины грузовиков. В дорожных ямах были навалены ветки, гравий и сухие комья глины.

Могучие лемехи, как ножами, вырезали глубокие рвы, поднимали насыпи, топкое болото превратилось в сухую, потрескавшуюся землю, кое-где заваленную сухими ветками и грудями пней.

За березняком гроыхали машины. Их железные шапки то исчезали, то опять появлялись. Казалось, невидимые руки поднимают их и приветствуют нас.

Гелгаудас остановился, поднял очки и весело окинул взглядом залитую солнцем, расцвеченную зелеными лоскутами, изборозденную каналами равнину.

— Зменное болото! — произнес он торжественно. — Земля хлеба, кукурузы и пастбищ. Босыми ногами можно ходить. Ни одной змен!

Я не вытерпел и рассказал ему, кого здесь встречал, видал, что слышал пятнадцать лет тому назад.

Гелгаудас вдруг побледнел. На его здоровом, загорелом лице выступил пот. Он смотрел на меня влажными глазами, с выражением испуга и боли.

— Это был мой отец... — сказал он тихо. — А мальчик, которого увели в лес, в это приболотье, — я сам... Садитесь!

Ничего больше не объясняя, он повез меня, одурелого от удивления, дальше, по осушенному болоту. Остановились мы около березняка, который, словно островок, сохранился в пустоши. Гелгаудас соскочил с мотоцикла. И побежал к березняку.

— Которое из этих деревьев — не помню. Но это здесь... — сказал он твердо, — у одной из этих берез — они тогда были маленькие... А тайное логово сына Куприйонаса находилось на том холме. Их было четверо. Четверо взрослых. Один из них — немец-десантник. Они долго расспрашивали меня про школу и учителя, про отца, а потом, сгрудившись, долго шептались. Баварец непременно хотел видеть рядом со мной и отца. Но как до отца доберешься? Они даже поругались. Солдаты в белых плащах и с лыжами уже окружали банду. За Зменным болотом слышалась пальба. Бандитам приходилось спешить. Куприйонас сказал:

— Такие безгрешные попадают прямо в царство небесное. Помолись, мальчик. Полетишь, как ангелочек... Все ангелы белые, а ты красный.

Меня подвели к этим березам. Куприйонас, немец и еще какой-то парень — у него в кармане вместе с пригоршней патронов были молитвенник и четки.

— Нагни, Юргутис, березу... — велел Куприйонас парню.

Тот, стиснув зубы, стоял в стороне.

— Живее, живее... Только выбери гибкую...

Сгорбившись парень поплелся по снегу к березам. Ногой он лягнул ствол — снег посыпался. Потом вдруг обернулся, приподнял автомат, и сквозь сыплющиеся хлопья полетели молнии выстрелов. Куприйонаса он уложил наповал, а баварец еще некоторое время корчился и целовал землю, на которую попал в помощь родичам Куприйонасов.

— Беги, мальчуган! — воскликнул парень. — Шпарь и не оборачивайся...

Позади грянул взрыв гранаты, а впереди я слышал стрельбу. Под ногами хлюпали «окошки» Змеинного болота. Как я выкарабкался, сам не знаю... Помню — солдаты завернули меня в палатку, положили на лыжи и тащили до местечка. Тот парень шел рядом.

...Возле нас тихо шелестели березы. Высокие, раскидистые, красивые. По валу, который опоясывал пустошь, медленно шел экскаватор. Он казался маленьким, как черный жучок, в этих широких, красноватых болотах, расцвеченных ярко-зелеными лоскутами.

Далеко, на другом краю, средиaira стояло несколько журавлей. Подняв клювы, они наблюдали, как медленно движется машина.

Было тихо. Жарко. Самый полдень.

СОЛДАТСКИЙ НОЖ



лужащий Каунасской водопроводной станции Повилас Варненас лежал одетый на диване и ждал самого худшего. В комнате царил белесый, мутный предрассветный полумрак, томительный и густой, какой бывает, когда солнце еще не взошло, а ночь отходит медленно и неохотно.

Варненас глядел на окна, перекрещенные полосами бумаги. Ему казалось, что эти белые штрихи на стеклах вывела смерть с косою. В полумраке бумажные полосы напоминали разинутую пасть.

Где-то вдалеке гремели артиллерийские орудия. Оконные стекла дребезжали. Распахнутая белая пасть позевывала.

Было очень страшно, знобко, ныли кости. Повилас Варненас сел на край дивана, послушал канонаду, а потом босиком подошел к окну и тихо открыл его.

Теплая ночь струилась в комнату, в темной синеве блестели золотистые звезды. На улице шелестели цветущие липы. Но было страшно, неуверенно, жутко.

Во дворе раздались чьи-то шаги. Перевесившись через окно, он успел увидеть только черную тень за углом дома.

Скоро шаги слышались на лестнице. Топ-топ-топ—размеренно приближались они к дверям Варненаса. Он

стоял босой, побледневший, готовый к встрече с неведомой судьбой. Неизвестно почему, он быстро застегнул пиджак, пригладил взъерошенные волосы.

Кто-то постучал в дверь осторожно, но настойчиво. Варненас молчал.

— Спишь, что ли, Повилас?

— Разве в такую проклятую ночь, Дзидас, сомнешь глаза? — ответил Варненас, быстро бросился к двери и впустил Дзидаса, механика водопроводной станции. Тот был в шляпе, брезентовой куртке, с гаечным ключом в руке.

По воскресеньям, надев выходной костюм, механик обязательно надевал шляпу. Но в этот рассветный час Дзидас в шляпе показался Варненасу сумасшедшим, а его неподвижные, белесоватые глаза — глазами утопленника.

— Садись!

Дзидас обошел предложенный стул и сел на край стола, глядя без всякого выражения на темное окно. Где-то орудия выплевывали огонь и гром. Казалось, что железная повозка грохочет по каменной мостовой — все ближе, ближе.

— Нас-то будут взрывать? — скрипучим и грубым голосом спросил Дзидас.

— Непременно.

— Сегодня утром?

— Должно быть...

Дзидас тяжело вздохнул. Гаечный ключ он все еще держал в руке.

— Где шатаешься ночью? — спросил Варненас, зашнуровывая ботинки.

Нужно что-то делать. Но что? Их всего двое, и они бессильны. Вал фронта подкатывается к городу. Водопроводная станция молчит: убежали инженеры, попрятались мотористы, моторы выключены. Вчера в обед заезжали немецкие мотоциклисты и велели всем убираться — будут взрывать.

Прошел день, вечер, идет к концу тревожная ночь — уже почти утро. Вздвигивающая нервы орудийная музыка не прекращается. Город, кажется, съежился, спрятался, исчез. Даже гитлеровцев не видать. И только

они — Дзидас и Варненас, два сторожевых привидения — дежурят, угнетаемые ужасным предчувствием и слабой надеждой.

Может, подрывники забыли их? Может, немцы только погрозили, разогнали всех и сами удрали? Варненасу кажется, что он, будь это возможно, снял бы с плеч пиджак, набросил на водопроводную станцию и укрыл бы ее от дурных глаз. Но почему Дзидас надел ночью шляпу, почему глядит белесоватыми глазами и так мало разговаривает?

— Сколько лет работаешь на нашей станции? — прерывает неприятное молчание Варненас. — Говори. Язык отнялся, что ли?

— Пальма в машинном зале — мое дерево, — ответил Дзидас. — Идем, польем... Завтра они ее, наверное, вырвут... Или сожгут.

— Будут взрывать — всё разнесут. И меня, и тебя, и пальму... — ответил Варненас, однако предложение Дзидаса ему понравилось. Скорее из этой комнаты, в которой так душно, что хоть ворот рубахи на себе рви!

Они идут, поднимаются по лестнице, — двое на пустой водопроводной станции, где столько лет днем и ночью не прерывалось гудение машин. Билось сердце станции. А теперь она глухая и немая. Кругом темь. Ни единого огонька. Разве это не предсмертный покой?

Варненас вынимает из кармана связку ключей. Звякая ключами, как колокольчиком, они молча идут. Поднимаются на несколько ступеней, останавливаются у железных дверей, открывают их. Молча входят в машинный зал. Приторно пахнет маслом, вроде квашеных яблок. Дзидас оживляется и идет куда-то к стене. Он тянет шнур занавески. Щелкает пружина, и темная штора поднимается вверх. Розовый утренний свет льется через верхушки дубов. Свет окрашивает и выложенные белыми плитками стены зала. Они сверкают словно красноватый мрамор. Черные насосы, будто опустившиеся на колени великаны, склонив головы, как бы молятся в храме из розового мрамора.

Дзидас приносит жестянку с водой. Он склоняется над деревянным ящиком, недалеко от доски реостатов. В ящике пальма, распростершая широкие, длинные руки. Она благословляет стоящие на коленях, охваченные отчаянием насосы.

Механик заботливо льет из жестянки воду на черномезе, в который крепко выросла зеленая пальма.

— Ты была маленькой, а я был молодым... — говорит ей механик. — Ты хочешь жить, а есть люди, которые хотят твоей смерти...

Варненасу надоедает это монотонное и грустное бормотание Дзидаса. И он выпаливает:

— Но ты, Дзидас, надел свои лучшие брюки! Может, сегодня годовщина твоей свадьбы?

Дзидас лишь нетерпеливо дергает плечами.

Да, он на самом деле вырядился как на свадьбу: шляпа, хорошо отглаженные брюки из зеленого габардина, нарядные ботинки, даже галстук. Варненас только не понимает, где Дзидас забыл пиджак, почему надел засаленную брезентовую куртку.

— А где твоя жена, дети?

— Молятся... — ответил Дзидас.

— Зря. Лучше пусть поищут убежище. А если они здесь — выведи их. Наш погреб все равно завалит взрывом.

— Не идут. Говорят — где ты, там и мы...

Рассвело. Потеплело. Из бетонного склада вылезли дети Дзидаса. Они, как козлята, вскарабкались на обрыв, а потом кувырком скатились вниз. Над обрывом изредка с жужжаньем пролетала шальная пуля. Здесь же на дворе шипела керосинка. Женщины терли картофель на завтрак.

— Их еще нет... И не будет... — громко сообщил Варненас. Видно было, что настроение его стало лучше. — Ночью наши обошли с флангов. Немцы побоялись попасть в мешок. Удрали. В городе их уже нет. Шпалят в фатерланд, как облезлые волки...

Откуда все это знает Варненас? Старый гусар запамятовал кое-что смыслит в военных делах. Он хочет успокоить и себя, и ближних, и тех жителей окружающих улиц, которые теперь приходят с ведрами брать из резервуа-

ра воду. Люди жаждут хороших известий. Варненас охотно излагает свою стратегию. А сам про себя думает: «Если этой ночью ничего не произошло, то в следующую — наверняка».

К полудню у резервуара толпилось все больше жителей с соседних улиц. Лязгали ведра, жестянки, бидоны для молока. Нигде нет воды, а здесь — из крана журчит неистощимая пенящаяся струя.

— Ночью дали им по загривку... — объясняет любопытным Варненас. — Пленных две или три тысячи. Генерал попался. Танки бросили. Теперь немцы пешком бегут — уже за Неманом. Но и там не продержатся... Что от них осталось? Завтра, послезавтра снова пустим воду... А они, паршивцы, станцию хотели вдребезги разнести. Видите? На дверях знак подрывников. Тот, кто этот знак метил, теперь уже сам валяется...

Но Варненас, не закончив, замолчал с разинутым ртом.

Во двор въехал пыльный военный грузовик. Выскочил гитлеровский офицер. Высадилась группа солдат. Выстроились шестнадцать человек в зеленой форме... Ефрейтор разбил их на два отряда. Солдаты стали выгружать наглухо забитые ящики, каждый из которых приходилось тащить вдвоем.

Соседи исчезли, остались только Дзидас и Варненас. Офицер проверил их документы и показал на ефрейторов:

— Они тут — старшие. Слушаться и помогать им! Когда скажут вам убираться, уходите не оборачиваясь. Сегодня вечером или завтра утром станция полетит к господу богу.

Офицер обошел все помещения, резервуар, оставил ефрейторам какой-то чертеж и уехал.

Варненас, чернее зимней тучи, наблюдал, как солдаты готовятся хоронить его станцию.

— Сколько весит ящик? — спросил он проходившего мимо солдата.

— Пятьдесят килограммов...

— Дзидас, считай, сколько они кладут в насосную. А я посмотрю, что делается в шиберной...

— Повилас! Они в насосной положили шесть ящиков... Триста килограммов динамита!..

Механик слонялся около белого домика, шатаясь как после попойки. У дверей стоял часовой.

— Цурюк! Назад! — ревел солдат, когда Дзидас хоть в окно пытался взглянуть, что творится в машинном зале. Знает ли его зеленая пальма, его насосы, что рядом уже дышит смерть?

Варненас бегал вокруг резервуара, когда-то устроенного в пороховом складе старого форта. Повилас все знал там как свои пять пальцев. Сам клал трубы, ставил шибера, проверял вентиляционные желоба... А теперь солдаты тащат и тащат в резервуар тяжелые ящики, несут и протягивают провода.

— Паутина уже сплетена, Дзидас... — шептал Варненас. — А мы словно муравьи... Всюду охрана: входить уже не дают.

Но Дзидас был озабочен чем-то другим. Только что к нему подскочил один из старших — ефрейтор лет тридцати, с мясистым, отталкивающим лицом, светлыми волосами и темными прищуренными глазами. Он толкал Дзидаса, осматривал его карманы, а потом показал пальцем на брюки, бормоча что-то непонятное.

— Очень интересуется моими брюками, свиное рыло... Моими лучшими брюками... Что мне делать?

— Спрячься.

— А ты?

— Останусь здесь, пока не прогонят.

— Да разве станцию им оставишь?

— Где ты, там и я... — ответил Дзидас.

Подрывники кончили раскладывать смертельный груз, протянули провода. Одни солдаты уселись при телефонном аппарате, другие, раздевшись, грелись на откосе. Второй ефрейтор, довольно спокойный, среднего роста, с рыжеватыми редкими усиками, сел в сторонке. Из своего ранца он вынул маленький треножник, прикрепил коробку, раскрыл ее, достал кусок холста. И начал что-то рисовать, глядя на окрестный пейзаж с виднеющейся вдали высокой башней костела.

Варненас подошел посмотреть.

Ефрейтор ловко работал кистью. Отчетливо обрисовывались силуэты домов, башни, улица с растущими каштанами.

— Красиво! — пытался завязать разговор Варненас.

— Война! Все, что было красивого, покрывается черным цветом, — спокойно ответил ефрейтор, изображая пушистые облака над обрывами вокруг водопроводной станции.

Потом он стал мешать новую краску и почему-то внимательно посмотрел на Варненаса, такого изнуренного, забитого, беспокойного. Запавшие от бессонницы щеки, опухшие воспаленные глаза.

— Скажи своему товарищу в шляпе... — произнес рисовальщик тихо. — Пусть не попадает на глаза тому ефрейтору... Тот очень злой. Человека может убить, как цыпленка.

Варненас набрался смелости:

— Почему вы всё разрушаете? Уйдете, а мы остаемся здесь. Как людям без воды?

— Это не я. Это они, — ответил ефрейтор-художник, локтем показывая на Свиное рыло, который только что показался у двери склада и озирался, словно кого-то искал.

— Вы не немец?

— Нет! — потряс головой собеседник. — Чех.

Варненас все больше смелел:

— Свастика что вам, что нам — петля на шее...

Художник чуть заметно кивнул головой и взялся за кисть.

— Чехия закабалена, чехи — рабы...

— Помогите нам. Не взрывайте.

— Я тут не самый главный, — ответил чех и опять внимательно взглянул на Варненаса.

— Моими руками строено... Все рабочие — братья. Вы когда-нибудь воздвигали дома?

— Я инженер. Создавал машины. А потом казармы, фронт.

Варненас повернулся и посмотрел на насосную.

— Там — наши машины... Что нам делать без них?

Чех угрюмо молчал и нанес на холст пятно голубой

краски. Вдруг раздался громкий хохот солдат. Художник и Варненас обернулись.

Свиное рыло, схватив за куртку, толкал механика Дзидаса в складик. С головы у Дзидаса скатилась шляпа. Гитлеровец удовлетворенно наступил на нее ногой.

— Всегда он так... — сказал ефрейтор-художник. У него дрожали губы. Было видно, что он раздражен своей беспомощностью.

Гитлеровец толкнул Дзидаса в складик и закрыл дверь. Солдаты весело засвистели.

— Убьет! — испугался Варненас.

— На другое он не способен, — ответил чех и, не поворачиваясь, спросил: — Что важнее — резервуар или насосы?

— Одно от другого неотделимо. Во что накачивать воду, если разобьют резервуар?

— Выбирайте... Или то, или другое, — не поднимая от холста глаз, сказал чех. — У нас сегодня два поста. Если я стану у резервуара, он пойдет к насосам. Что для вас важнее? Может, хотите его самого попросить?..

Чех показал на складик, дверь которого была все еще закрыта.

Показался Свиное рыло. В руках он держал выходные брюки Дзидаса.

— Обдумали? Что для вас важнее? Как инженер — советую вам выбрать насосы, моторы и гидрофор...

Часовой открыл ворота с улицы. Въехал грузовик. Рядом с шофером сидел офицер — тот, что приезжал утром. Теперь у него на голове был стальной шлем.

Чех быстро поднялся, закрыл свою коробку с красками, сложил треножник.

— Я сделаю знак... — ладонью он похлопал по чехлу с солдатским ножом, свисавшим с ремня, и, странно улыбнувшись, быстро ушел.

Варненас как сидел на траве, так и остался, очень удивленный и испуганный. А если это подвох?

Вскоре на водопроводной станции раздался сигнал тревоги.

— Уходить и не оборачиваться!

Варненас, да и Дзидас, в кальсонах, с расшибленным лбом, не вытерпели и обернулись. Они видели, как сол-

даты ловко вскакивали в грузовик. Последними прибежали Свиное рыло, а за ним и чех. Они прыгнули в автомашину, и та полным ходом понеслась к центру города.

Старый гусар Варненас, отойдя в сторону от водопроводной станции, потянул своего приятеля за куртку и втащил в ров.

И как раз вовремя. Там, на середине площади, где высилась насыпь старого форта, укрывавшая водопроводное оборудование, загрохотал вулкан.

Украшавшая фасад скульптура из белого гранита — литовская женщина, несущая воду, — кусками полетела в небо. Град камней, осколков бетона и железа падал на соседние дома. Разбитый резервуар лопнул, с ревом хлынул могучий поток, заливая соседние улицы...

Все... Станция погибла.

Когда вода спала, Варненас с Дзидасом вернулись.

Они вязли в липкой глинистой почве. Пробирались через груды камней. Пришли во двор

Кругом — горы развалин. Ветки деревьев были поломаны. Черные, обожженные листья, словно мертвые птицы, летели и падали на землю.

И здесь перед ними мелькнул луч надежды.

Насосная станция, наполовину заваленная землей и обломками, была целой, невредимой.

Они вбежали в нее. Пальма зеленела, хотя вокруг нее на полу валялось битое оконное стекло.

По насосной переплеталось много тонких красных проводов.

К каждому насосу был подложен смертоносный подарок — ящик со взрывчаткой. Провода тянулись в подвал, под чанами гидрофора.

Забыв всякую предосторожность, Варненас с Дзидасом заглянули и туда.

А здесь, где все взрывные провода сходились в один, лежал немецкий солдатский нож. Рядом валялся перерезанный основной провод, по которому так и не пробежала искра...

Ножом владела рука друга.

Если сегодня вы захотите побывать на Каунасской водопроводной станции, то найдете ее уже давно от-

строенной, на том же самом месте. Она значительно больше и красивее, чем была раньше. Снова радует нас скульптура из белого камня. Легким и изящным шагом идет к берегу литовка, несущая воду. В зале насосов гудят ее могучие помощники. Приятно постоять в белом, чистом зале под зеленой пальмой. Она теперь еще больше подросла, у нее пышная крона. Многие машины — тоже наши старые знакомые.

А если хорошенько поищете, наверное, найдете и людей, которые помнят историю об одном солдатском ноже...



пять слезы?

— Я тебя не люблю, ненавижу!

— Давно ли?

— С тех пор... С тех пор, как

ты свой дом забыл... Вечно где-то околачиваешься. Камни стали тебе дорожке жены!

Вихрастый парень небольшого роста, в комбинезоне, испачканном сажей, сунув руки в карманы, шагнул по комнате. Остановился, свистнул:

— Ого! Где-то околачиваюсь?

Моника сидела на подоконнике. По ее щекам катились слезы. Она упрямо твердила: «Да, где-то околачиваешься...»

— Ну и сказала!

Игнасу хотелось бы, чтобы бессмысленное рыдание поскорее кончилось. Слезы — самое коварное оружие Моника; они всегда больно задевают его. Но поддаваться капризам жены он не хочет, а уйти не простившись не может.

И Игнас чувствует себя между двумя жерновами, которые жмут его все сильнее и сильнее.

Он отворачивается к буфету, будто заинтересовался

вязаной салфеткой. А на самом деле он следит за отражением Моника в стекле.

Она закрывает ладонями заплаканные глаза. Тихое рыдание переходит во всхлипывание. Круглые, упругие плечи, такие близкие, когда гладишь их, теперь опущены и вздрагивают.

— Полно, Моника. Каждый день у тебя всё новые причуды, а все выведенного яйца не стоят... Своими придирами ты меня в могилу вгонишь,— пытается успокоить жену Игнас.

— Тебя — в могилу? Слышали, люди добрые? Да на твоей голове хоть кол теши, ты даже ногой не дрыгнешь... Даже не проснешься. Ты ведь настоящий чурбан!..

Игнас только плечами пожимает. Вот вам и семейное счастье! Парень сам не знает, рассердиться по-настоящему и как следует отчитать жену или погодить. Может, побесится, да и перестанет...

Неужели это та самая Моника, его милая жена, обещавшая до гроба чтить и любить своего мужа?

Два с половиной года назад Игнас приехал в эту местность со своим трактором подымать залежные земли.

Расположился он в крестьянской усадьбе на краю поля. Подкатил под забор бочку с горючим, поставил туда же запасной лемех, а спал на сеновале. В усадьбе в то время готовились к свадьбе. Подвенечное платье для дочери хозяина, невесты, шила приглашенная на хутор портниха Моника — девица лет двадцати семи.

По вечерам Игнас видел, что она задумчиво сидит на подоконнике, глядит на засыпающие поля и поет что-то грустное. Мелодия обрывалась... С Моникой заговаривали хозяева, девушка что-то отвечала, потом заливалась хохотом и оживленно щебетала, будто песни вовсе и не было.

Стоял серый ветреный день. Игнас вернулся с поля с красными, будто у кролика, глазами. Сильный ветер запорошил ему глаза песком — мелким как толченное стекло.

Скорчившись на ступеньке крыльца, Игнас моргал, тер глаза, скрипел зубами и почти плакал. Моника увидела, что парень мучается, отчитала его, почему грязны-

ми руками глаза трет. Не долго думая, Игнас послал ее к черту. Она быстро исчезла в избе, но тотчас же, сбегав по ступенькам, подала Игнасу миску с теплой водой и куском мыла да приказала хорошенько вымыть руки, а потом сменить воду и лицо вымыть. Потом она, смочив ватку раствором борной кислоты, принялась промывать ему глаза.

Впервые Игнас так близко ощущал теплоту женского тела. Пальцы Моника были нежными, и одно это уже уменьшало боль.

Оказав первую помощь, Моника взъерошила волосы парня.

— Если до завтра не пройдет — повезем в амбулаторию, — сказала она. — Ну а теперь поди отдохни.

Через полчаса Моника пришла со стаканом к Игнасу на сеновал, чтобы вторично промыть ему воспаленные глаза. Вернулась Моника оттуда красная и смущенная. Она сбивчиво объясняла, что нечаянно оступилась и разбила стакан.

Утром Игнас встал бодрый, здоровехонький. Моника сидела у окна за работой. Она даже глаз не подняла. А он, проезжая мимо, так громыхнул своим трактором, что даже стены избы задрожали...

— Что-то сирота наш нынче взбесился... — удивленно промолвила хозяйка. — Кабы забор не выломал...

Игнаса издавна прозвали сиротой потому, что он еще в детстве потерял родителей. Вначале подпасок, а потом батрачонок, вечно под чужим кровом. Лишь после войны оборвыш Игнас стал трактористом, получил постоянную работу. Очень любил он что-нибудь мастерить или копаться в моторе. Всегда ходил в промасленной одежде.

Кто мог подумать, что ветер, поднявший пыль на поле, принесет ему счастье?

Через две недели связал Игнас свое добро и поселился в селе у портнихи Моника. Хоть девушка и старше его была, да разве любовь в паспорт заглядывает.

Гости на свадьбе два дня гуляли. Моника сшила себе чудесное голубое платье, усыпанное серебряными звездочками. Оно было ей очень к лицу, ну точь-в-точь

как та сказочная царица, которую спас от когтей дракона храбрый юноша охотник. Игнас, в рубашке с белым накрахмаленным воротничком (хоть тот и тер ему шею), глаз не сводил с румяных щечек своей Моники и нежно прижимал ее к себе.

После свадьбы Игнас связал в узел свою постель и ушел из общежития трактористов, поселившись в ближайшем селе у Моника. Хоть она и была на четыре года старше мужа, однако неужели мерой настоящей любви может быть бумажный паспорт с его холодными казенными записями.

Прожили они годик-другой людям на зависть. Всегда в свободное время вместе, будто оторваться друг от друга не могут, словно какой-то тайный клад нашли.

Однажды Моника шила пальто жене заведующего кооперативом. Сшила не хуже, чем в городе, — в нем пожилая женщина казалась помолодевшей. Та в благодарность пообещала Монике устроить мужа продавцом. Моника с тех пор стала день и ночь пилить мужа:

— Вечно грязный как черт... Даже по ночам на полях пропадаешь... Весь газOLIном провонял... Кому понравится вонь? И подушки всегда в масле, ничем пятен не выведешь...

— Ты ведь знала, за кого замуж выходишь, — усмехнулся Игнас.

— Только нищим на твоих машинах ездить... — не сдавалась Моника. — Неужели так и жить будем, с места не сдвинемся?

— Что же ты советуешь?

— Есть местечко свободное... Работал там один человек, теперь его в колбасный цех перевели. На его должность двое или трое просятся... Там и чисто, и доходно.

— Что же это за место золотое?

Моника повела его в поселок. На перекрестке двух улиц стояла зеленая будка, сбитая из досок, маленькая, как скворечня. Над оконцем бумажный лоскут:

«Работаем и скупаем по вторникам, средам, пятницам».

— Тут? — Игнас даже рот раскрыл от удивления.

Он давно знал, что туда сдают всякое тряпье, резину, бумагу, старое железо — словом, все то, что людям не нужно.

— А сколько у нас свободного времени будет, милый мой Игнаси!.. — уговаривала его Моника. — Теперь у тебя все время пост, лишь по большим праздникам домой возвращаешься, весь грязный, осунувшийся.

Игнас все еще продолжал глядеть на зеленую будку и не мог прийти в себя от удивления.

— Не думай, что это все так просто... — шептала ему Моника. — За этой дощатой стеной большие дела делаются, там золотом пахнет. Тот, кто здесь раньше работал, нынче домик строит.

— Не пристало тебе шутки шутить, Моника... — наконец ответил Игнас. — И к тому же скверные шутки... Я ведь тракторист! А ты... ты хочешь меня чучелом городовым на посмешище выставить...

— Что осталось бы от твоего заработка, коли б не моя игла?.. Подумай, сколько я одного мыла извожу...

— Пойдем отсюда, поскорей пойдем, Моника... — сказал Игнас. — Уйдем, пока люди не заметили, что мы вокруг этой будки бродим...

Однако Моника была не из тех, кто сдается без боя. Спор надолго затянулся. Изо дня в день все о том же.

— Чудак! Ведь я тебя от грязных машин избавить хочу... — как-то начала она вновь. — Коли б не моя игла...

Игнас, который что-то писал в тетради, поднял голову.

— Игла? — сердито спросил он. — Как видно, машин ты и впрямь не любишь, одна лишь игла да всякие тряпки тебе по душе. Но знай, из тряпья ты мне гнездо не сошьешь! Слишком большим стал. Не помещусь. А о твоей волшебной игле я тебе вот что скажу. Как ты думаешь, долго ли человек на земле живет?

— Сколько этой жизни нашей...

— Ничего ты не понимаешь. Я не об этом. Человек живет и ходит по земле уже полмиллиона лет. А когда он свои самые умные машины стал строить? Тоже не знаешь? Совсем недавно. Каких-нибудь двести лет. С тех пор он и стал разумным существом. А ты его хочешь в дырявую калошу посадить...

Плачет, отчаивается Моника, что муж у нее такой упрямый. Желая его наказать, даже постель отдельно постелила. Но Игнас не уступает. Долго по вечерам сидит дома — уткнется в тетрадь и что-то пишет. Моника исподтишка наблюдает за ним. Не другой ли письмо строчит? Хочется ей подойти, глянуть через плечо, да гордость не позволяет. Лежит, притворяясь спящей, а сама все глаза проглядела. Игнас устанет, встанет, вытянув руки и сжав кулаки, потянется и уйдет на кухню. Напившись воды, возвращается и снова садится за стол.

Монике очень хочется его подозвать, как делала это раньше: «Ну поди, поди сюда ко мне, я не могу без тебя уснуть». Но прикусывает язык. «Почему он считает меня дурой? Почему мы не можем дом построить, как другие? Ведь для начала у нас и сбережения есть...»

Моника не уступает, Игнас тоже.

За последние дни Игнас будто совсем взбесился. Уедет в район и домой глаз не кажет. Окончательно от рук отбился. Все время где-то на стороне околачивается. И кому, спрашивается, он постоянно письма пишет?

Как только опустится солнце, Моника выходит на крыльцо и поджидает мужа. Может, сегодня вечером этот непоседа появится? Но вокруг тишь, пустота. Не слышать грохота подъезжающего трактора.

Моника подходит к старой развесистой груше.

Неподалеку торчит из земли большой красный камень. Моника в раздумье садится на него. На душе горько. Ведь ее доля так же тяжела, как этот камень, с незапамятных времен лежащий у ветхого домика. Его не сдвинешь с места, не увезешь...

Моника вздыхает, оглядывается: вокруг поля, усеянные камнями, будто когда-то, давным-давно, по холмам и долинам пробежал великан и из гигантского сита рассыпал их. Неужели и она — брошенный на произвол судьбы камень?

Сегодня Игнас наконец вернулся.

— Видела? — вбежав, оживленно крикнул он и схватил ее за руку. — Ты только пойдй взгляни.

Моника вырвала руку.

— О доме ты лишь тогда вспомнишь, когда грязное белье на плечах гнить начинает.

Все же подошла она к двери, оперлась о косяк.

Что тут особенного? Стоит себе трактор, а из его носа торчат длинные железные когти. За два года вдо-сталь насмотрелась она на железо и нанюхалась газо-лина.

А Игнасу все не терпится. Он вскакивает на своего великана, усаживается в кабину и заводит мотор.

— Глянь, как машина разглаживает землю! — кри-чит он.

Трактор пыхтит, грохочет, хоть уши заткни. Но вот скрипнул рычаг и нос оскалился железными клыками. Глубоко в землю вонзаются острые зубья, прямо под ее заветный камень. Трактор натужно тарахтит и выдирает его из земли. Яма раскрывает свой зев — в ней шевел-ятся потревоженные черви. Юркнула серая полевая мышь. С давних пор неподвижно лежал камень в зем-ле, а теперь вдруг повис в воздухе, схваченный стальны-ми клещами. Поднял его Игнас, отвез поодаль и бро-сил у дороги.

Страшно становится Монике. У нее отняли даже тот камень, на котором она отдыхала... А Игнас поворачи-вает машину обратно, вновь подъезжает и улыбается, будто ничего не случилось...

И Моника поняла, что никогда не усадить ей Игнаса в зеленую будку. Пусть себе околачивается... Ну хоть бы тут пускай собирает камни. Лишь бы она его в окошко видела...

Станет шить, глянет в окно — а ее Игнас рядом, к другой не ушел. И писем больше писать не будет...

— Вернусь, милая, деньков через десять... — гордо заявляет Игнас. — Ждут не дождутся меня в Пaeже-рисе... На стройке плотины камней не хватает. Трижды звонили. Всё торопят, чтобы свою конструкцию скорей заканчивал. Ну а теперь — ого! Поди, обними, поцелуй, ворчуныя ты моя...

Моника бледнеет.

— Когда ты уезжаешь? Сегодня?

— Пообедаю и поеду.

— Можешь ехать и не возвращаться!

И на Игнаса вновь обрушивается град упреков. Его лицо бледнеет. С урозой в голосе он говорит:

— А ты потише... поспокойнее...

— Уезжай! Скорее уезжай! Ты мне больше не нужен!

— Может, другого ожидаешь?

— Найдется, кто и посочувствует мне! — подбоченясь, кричит Моника. Ее грудь тяжело вздымается. — Подумаешь, нужен мне такой неряха. Обнимайся и целуйся со своими камнями!..

— Так вот ты как... — тихо цедит Игнас. — Повтори, что сказала...

— И повторю... Можешь совсем не возвращаться!..

Игнас с шумом выдохнул воздух, глянул на нее исподлобья и, резко повернувшись, вышел. Громко хлопнула дверь.

Моника бросилась на постель, в досаде зарылась в подушку. Она поняла, что слишком зло над ним посмеялась. Но если сейчас уступить, побежать за ним вслед, извиниться — тогда Игнас, пожалуй, совсем распустится. После этого ему и слова наперекор не скажи. Найдется ли на свете жена, которая не захотела бы одержать верх над мужем?

Моника лежала и с нетерпением ждала. Он должен вернуться.

Но Игнас не возвращался. Во дворе затарахтел трактор. Долго шумел он, ездил взад и вперед, даже к самой двери подъехал — видно, таким манером Игнас заманивал свою жену во двор. «Еще немного помучаю! Больше любить будет», — улыбаясь сквозь слезы, думала Моника.

Наконец трактор тяжело запыхтел возле самого порога, а потом выехал со двора... Грохот стал затихать. Моника припала к окошку и с грустью провожала машину, пока та не исчезла за березовой рощей.

Утром Моника встала с головной болью. Теперь она знает, что ей делать. Сегодня же она поедет на попутном грузовике кооператива до самого Паежериса. Надо Игнасу свитер отвезти, оставить харчей. Ведь он в чем был уехал и голодный... Теплота разлилась у нее в груди.

Моника больше не сердилась, ей было лишь чего-то жалко.

Сборы были коротки. Но что это? Хочет Моника дверь отворить, толкает ее, а та ни с места. Экая чертовщина! Наконец, догадавшись, она распахнула окно и глянула в палисадник. Чего доброго этот сорванец Игнас дверь доской заколотил.

Выглянула в окошко и едва чувств не лишилась. Огромный, хорошо знакомый ей красный камень привлечен к самой двери.

— Господи, заживо похоронил!

Вмиг сняло всю нежность к Игнасу. Какой позор! Вся деревня надрываться от смеха станет! Начнут языками чесать!

Выплакавшись, бросилась к ближайшим соседям. Пряча улыбки, люди обошли огромный камень, похлопали его и сказали:

— Сила-то какая! И как он приволок этакий? Тут, милая, без полка солдат не обойдешься. И то как знать, сдвинут ли его. Без машины сюда и не суйся.

В полдень прибежали девушки за платьями. Моника выставила им табурет. Девушки, прыскаая от смеха, влезли в окно. Тем временем молодежи полный двор собралось. Кричат, свистят, подшучивают — ну просто от стыда хоть сквозь землю провались.

Моника тем же путем выпустила гостей, убрала табурет и окно завесила. Затаилась внутри, будто дома живой души нет.

А народу все больше прибывает — подойдут, поглядят и, столпившись у забора, толкуют.

Какой-то сельский грамотей даже историю вспомнил и рассказал старикам о рыцарских временах. Когда-то давным-давно рыцари заказывали своим мастерам особые пояса с замками. Опояшут они такими поясами своих жен, а сами рубить сарацин отправляются...

Слушая рассказ о рыцарях, старики смачно хихикали и толкали своих старух в бок. А те бранных слов не жалели в адрес бессердечного Игнаса. Кое-кто бросился за помощью к председателю сельсовета. Пригнать, мол, Игнаса этапом домой. Пусть уберет камень. Хватит мучить подругу жизни.

Председатель подошел к окну и долго барабанил в стекло, приглашая Моника выйти и при свидетелях изложить свою жалобу. Он-де тотчас же отправится в Пaeжeрнc и уймeт хулигана.

Будто загнанная коза забилась Моника в чулан. Она хорошо слышала председателя, но не отзывалась и к нему не вышла.

Стемнело. Шум во дворе понемногу умолк, люди разошлись. Моника укуталась в платок и робко вылезла в окно. Бегом бросилась она со двора. Шла, избегая прохожих, выбирая непроторенные тропинки.

Люди рассказывали, что ночью приехал какой-то забулдыга на тракторе, сделал широкий разворот мимо деревни и потом исчез... А может, это был сам черт, который, как известно, бродит по ночам и с первыми же петухами исчезает?

Утром из трубы домика Моника вился легкий дымок. На росистой лужайке виднелся широкий след проехавшего трактора.

Ребята, прибежавшие во двор к Монике, были сильно разочарованы. Далеко отброшенный от порога камень лежал у дороги. Весело шелестела листва старой груши. Дети лишь издали поглядывали на созревающие плоды, однако ближе подойти боялись. Они знали, что в дупле дерева завелось большое осиное гнездо.

НИТЬ СУДЬБЫ



сли бы не заржавленный гвоздь на дороге, я бы, наверно, так и не услышал этой житейской повести — одной из сотен тысяч...

В погожий солнечный день мне довелось ехать по Жемайтии к границе Латвии. Я выбрал незнакомый большак, по которому уже пробежала быстроногая ранняя осень. Ярко желтели верхушки кленов, пламенели кусты бересклета. Только акации, сохранив свою сочную зелень, свысока взирали на осинник, который, перепугавшись заморозков, побагровел и весь дрожал.

Внезапно мой маленький автомобиль самовольно свернул к обочине. Я обеими руками вцепился в баранку, но машину так и тянуло к канаве. В конце концов я затормозил у придорожной березы, чуть не в обнимку с шершавым стволом.

Весело булькал воздух, выходя из покрышки. Из передней шины я вытащил ржавый трехдюймовый гвоздь.

Только автомобилисты поймут меня. Чем залатать, чем заменить испорченную покрышку? Я стоял возле старой березы и вертел в руке этот гвоздь.

Мне бросился в глаза домик железнодорожного сторожа. Сторожка, каких у полотна — сотни: маленькая,

желтая, с жестяной трубой. Кругом чисто подметено. Небольшое окошко глядит на сверкающие рельсы. Рядом голый ясень. Другие деревья еще шуршат листвою, а этот уже раздет донага.

Меня встретил сторож переезда Мажуолис. Невысокий коренастый мужчина средних лет. Из-под блестящего козырька темной форменной фуражки выбивались серебристые волосы. Глаза — светло-синие, с бодринкой и хитрецей. Он сразу смекнул, о чем моя забота, и посоветовал:

— Присядьте на лавочку, обождите. Машин теперь полно. Может, доктор проедет или с молочной фермы... А то еще кто-нибудь. Выручат скотом до городка.

Оглядев предательский гвоздь, сторож спокойно пояснил:

— Это вчера трактор избу в поселок перетаскивал да, видать, обронил.

Осмотрел он и мой автомобиль, носком сапога постучал о сморщенную резину. В глазах сквозила легкая усмешка.

— Видал! Кольнуло — и крышка покрышке! Фью! Пшик!

Когда Мажуолис изобразил звук выходящего из шины воздуха, губа у него чуть отвисла, обнажая шрам — большой, весь в рубцах, уходивший глубоко внутрь рта. Сверкнуло и три металлических зуба. Уж не пострадал ли и он при автомобильной аварии? Верно, потому сначала так сурово хмурился на сплюсненную шину.

Но я отгадал только долю истины.

В тот день и докторша, и заведующий молочной фермой, и все прочие не торопились проехать по этой дороге. В ожидании выручки пришлось просидеть несколько часов рядом с Бенедиктасом Мажуолисом.

Он угощал меня чаем и только что сорванной антоновкой. Сотрясая сторожку, мимо шли поезда. Пропустив составы и тщательно свернув флажок, Бенедиктас Мажуолис продолжал свою житейскую повесть — одну из сотен тысяч.

Тогда тоже была осень, только уже поздняя. Ветер гонял зеленовато-серые, синие, фиолетовые, ярко-рыжие и траурно-черные листья осины. Тополя уже совсем оголились.

Западная и северная окраины Литвы вместе с небольшой частью Латвии еще томились под разгулом оккупантов.

А Мажуолис занимался своим делом: смолил шпалы, чистил канавы, подвозил гравий и щебенку — простой работяга, с трудом добывавший ломоть хлеба и равнодушный ко всему окружающему. Только изредка поднимал он над лопатой или киркой прикрытые кустистыми бровями глаза. Робкие и неяркие. Все знали его как тихого, незаметного человека. Такие, кажется, избегают рассуждать и даже смотреть на всякого, кто постарше чином или позадиристей тоном. Их гложет беспокойство и неуверенность в самих себе. А судьба их — мутный прочерк: от нее ни следа, ни памяти.

К дорожному рабочему давно уже приглядывался станционный телеграфист. Раз, когда в дежурке не было посторонних, телеграфист торопливо вытащил из кармана скомканную бумажонку и сунул Мажуолису:

— Кто-то обронил... Про рабочих писано. На, возьми! Прочтешь — передай другому.

Мажуолис покосился. Это была одна из напечатанных в Москве литовских листовок, которые в далеком вражеском тылу по ночам разбрасывали самолеты.

— Отвяжись!... — пугливо и злобно окрысился Мажуолис. — Ничего не желаю ни читать, ни слушать. — И сторож дрожащей рукой скомкал бумажку, швырнул на стол телеграфисту. — Я и грамоту не шибко знаю... — добавил он. — А будешь приставать — коменданту пожалуюсь.

Телеграфист побледнел и торопливо спрятал запретное воззвание. Читателей таких листовок гитлеровцы в последние месяцы войны вешали.

— Дохлая крыса! Трус!... — процедил он сквозь зубы. — По крайности молчи! Пикнешь — сунем башкой в колодезь.

С того раза Мажуолис и телеграфист старались даже не глядеть друг на друга. Издали расходились в разные стороны. Мажуолис не пошел к коменданту. Было ясно — рабочий боится людей в мундирах пущё огня.

3

В конце сорок четвертого немцам приходилось совсем солоно. Со всех сторон надвигалась канонада. В ночном небе нескончаемыми волнами проносились бомбардировщики. На Балтике горели и тонули транспорты.

Раз после обеда прямо из осинника вылез, как барсук, солдат вермахта и робко прокрался в сторожку Мажуолиса. Немец густо зарос седой щетиной, оторванный рукав мундира у него болтался, а отскочившая подошва была прикручена оранжевым телефонным проводом. Солдат держал в руках винтовку, но тихим, охрипшим голосом вежливо попросил воды и хлеба.

Мажуолис привык к непрошеным гостям и знал: лучше не отговариваться, чтобы быстрее отвязаться. Он зачерпнул студеной воды из колодца, нашел краюху хлеба и горсть бобов. Изголодавшийся солдат тут же перекусил, испуганно бегая вокруг глазами, насторожившись. Он почти не разговаривал. Только перед уходом нашарил в кармане авторучку. Мажуолис не хотел принимать подарок, но солдат насильно сунул ее сторожу. Потом исхудалыми, грязными ладонями сильно тряхнул руку Мажуолису — дескать, спасибо.

Это был первый чужак, который походил на друга и не поскупился на благодарность. Жалость защемила сердце сторожа. Он повел немца в закут, покопался в сене и достал три яйца.

— Бери,— сказал Мажуолис.

А немец в ответ:

— За всю войну я ни единого человека не убил.

И снова шмыгнул в кусты — куда показал Мажуолис. Оставшись один, сторож принялся разглядывать авторучку. Красивая, черная, блестящая, а перышко сверкает как золотое. Мажуолис попробовал на ног-

те — чернила есть, действует. Несколько раз отвинчивал и завинчивал головку. Ценная штука! Потом осторожно сунул подарок за образ на стене. В тот день настроение у сторожа было отличное. Он вышел, пошвыстывая, и стал рубить хворост.

Недавно отточенный топор работал исправно. Со стороны моря ревела басом судовая артиллерия. Высоко в чистом и холодном небе вились белые нити, оставленные самолетами. Мажуолис чувствовал — стремительно надвигается конец войны. Скоро можно будет передохнуть и отоспаться.

Залаяла чужая собака. В ельнике раздались голоса. Мажуолис озабоченно огляделся. Потом, чтоб набраться храбрости, глубоко вздохнул. Но вдруг вспотела шея, сторож провел ладонью по ней...

Из старого ельника вывалились солдаты полевой жандармерии. С длинных поводков рвались два пса, за ними еле поспевали жандармы — потные, запыхавшиеся. С ними вместе бежал офицер и два унтер-офицера, не выпуская из рук пистолетов.

Одна собака ткнулась мордой во влажный лужок, проворно свернула по высокому берегу и нырнула в орешник. Зашуршали, затрещали заросли.

Мажуолис смекнул — пора сматываться...

Прижал топор к ляжке, тихо попятился. Всего три шага, и он скроется за хлебом, оттуда — в лес. Конечно, далеко не убежишь от псов и пуль. Но даже в самой большой беде не надо отчаиваться.

За спиной Мажуолиса кто-то рывкнул:

— Хальт! Хенде хох!

Он обернулся. В него целились из автоматов двое жандармов в стальных касках — видно, отряженные, чтобы оцепить сторожку.

Теперь погибнуть можно было просто и смело: кинуться на них с топором и получить смертельную порцию свинца. Но опять шевельнулась надежда — помечать всегда успеешь!

Выпустив топор, он поднял руки, косясь на орешник, сквозь который пробирались собаки и гитлеровцы.

Жизнь висела на волоске. Так сказать, без пяти двенадцать. Что принесут эти роковые пять минут?

Первым из кустов вылез офицер. Эполеты были затянuty паутиной, по груди с железным крестом испуганно полз паучок. Радостно улыбаясь, офицер прижимал к себе маленькую рацию, другой немец тащил брезент, с которого сыпалась земля.

— Наконец-то встретились,— весело крикнул офицер Мажуолису.— Сколько я вас искал!

Сторож побледнел, но посмотрел немцу прямо в глаза.

Пробило двенадцать. Надежда рухнула.

4

На столе лежали: авторучка «пеликан», рация с питанием — сухими батареями, тщательно сложенный брезент, медный провод, бумаги, бечевки.

Аккуратно подстриженные и прилизанные волосы следователя благоухали бриллиантином. Не повышая голоса, он разговаривал как со старым знакомым. Ногтем постучал по белому колечку на крышке «пеликана».

— Скажем, радиостанция очутилась возле вашего дома случайно. Без вашего ведома и содействия. Допустим... Но две буквы...

Он отвинтил крышку и протянул Мажуолису:

— Две буквы... «О» и «Б»... Инициалы Оскара Бреннера... Пропавшего без вести солдата. Владельца авторучки. Ее опознали свидетели. Ручка обнаружена в вашем домике, за образами. Есть ли надобность еще в других доказательствах, что вы совершили убийство Бреннера?

Мажуолис только плечами повел. Он уже говорил — «пеликана» нашел на полу в станционном здании.

— А рация? Которую мы пеленгуем уже три месяца? Которая столько времени работала в лесах?

Мажуолис молчал. Понятно — никто не поверит. Всё против него. Он смотрел на небольшой шрам у виска следователя. Дрожали оконные стекла: видно, в море опять сцепились корабли. Или с берега бьют по десантным судам.

За окном стоял на страже клен. С дерева, медленно кружась, опадали последние листья, стелились золотистым пологом.

«Скоро и я так упаду. Может, больше не станут бить. Прямоком к яме. Наверно...» — раздумывал Мажуолис.

Следователь нажал кнопку.

Вошел телеграфист — синий от ярости и готовый разорвать на куски Мажуолиса.

— Обманул он меня, господин капитан, — сыпал словами телеграфист. — Я правильно нюхом почувствовал... и рапорт о том представил. Но потом... посмотришь — такой темный, тупой...

И не сдержавшись, подскочил и отвесил Мажуолису оплеуху.

Тот чуть вздрогнул. Теперь Мажуолис не выглядел тупым и запуганным. Из-под мохнатых бровей насмешливо сверкали синие глаза.

— Утром, Мажуолис, расстреляем тебя, — объявил следователь, становясь между телеграфистом и Мажуолисом. — У тебя есть время до завтра. Поможешь обнаружить парашютистов — останешься в живых, а нет — вот как с тобой будет...

Следователь расплел бечевку на мелкие жилки, взял одну, дернул.

Ниточка порвалась.

5

Порядок соблюдался точно.

Утром прозвучала команда:

— Становись! Пиджаки оставь! Выходи.

Мажуолиса и еще троих незнакомцев в одних рубашках погнали на опушку, метрах в четырехстах от деревяного дома за колючей проволокой, где помещалась контрразведка.

Их сопровождало шестеро вооруженных солдат и еще двое или трое чином постарше. Случайно или нет, был здесь и телеграфист — на этот раз в фельдфебельском мундире, с фотоаппаратом.

Седьмой солдат нес три лопаты. Швырнул их под ноги обреченным и крикнул:

— Чего спите? Копайте. Думаете — я за вас буду потеть?

Лопат три штуки, а умирать четверым. Мажуолис

не брал заступа. Один из арестантов горько рыдал, но первым копнул землю. Слезы катились на черные комья.

Команда палачей курила и наблюдала, как роют могилу осужденные. Одному из солдат захотелось запечатлеть себя на этом фоне. Выдумка пришлась по вкусу и остальным. Телеграфист щелкнул фотоаппаратом.

Мажуолис вытянул два пальца и смерил: солнце поднялось над лесом на дюйм. Оно сегодня было особенно теплым и светлым. На шершавую траву легли густые тени. И Мажуолису почудилось — это не тень, а его собственное тело припало к земле, впитавшей последнюю кровь его сердца. Он уже отдал себя земле.

Страшно думать о смерти. Мажуолис подошел и положил руку на лопату, которую вскидывал беспрерывно рыдавший арестант — деревенский парень, угловатый, неповоротливый, с очень светлыми волосами и крепким затылком.

Мажуолис зашептал:

— Куда спешишь, дуралей? Чем дольше рыть — тем дольше жить...

Отобрал у парня лопату и принялся медленно работать. Лопата казалась налитой свинцом. Так он копал — еле-еле.

Другие тоже чуть шевелились — готовили себе могилу с черепашей скоростью.

Это взбесило конвоиров. Они стали браниться, измываться, грозить. Но обреченным нечего было терять — их не пугали уже ни угрозы, ни ругань.

Всего на полметра раскрылся верхний пласт земли, а работе еще конца не видать. Офицер, руководивший расстрелом, остервенел.

— Отобрать лопаты! — приказал он.

Тот самый жандарм, который притащил инструмент, забрал лопаты у обреченных, отошел в сторону. Послышалась команда.

Солдаты проворно вскинули руки.

— Фёер! Огонь! — крикнул офицер.

Каждый падал по-своему: один ткнулся лицом пря-

мо в недорытую яму, второй медленно опустился на колени и, скорчившись, рухнул навзничь, третий сделал шаг назад и упал как подкошенный. А Мажуолис почувствовал, что его пронзили раскаленные прутья. Он не помнил, как очутился ничком на земле. Во рту — песок...

Так вот она — смерть!

Неправда, что человек может испугаться смерти. Она внезапна. Был ты — и нету тебя. Только что видел солнце, — а теперь перед тобой розоватая тьма. Дышал, — а сейчас вокруг тебя безвоздушная глубь.

Но что это? Мажуолис слышит голоса, шаги, даже kloкочущий хрип.

Разве по ту сторону могли быть звуки? И что теперь делают мои друзья?

А вот — чьи-то слова:

— По пуле в затылок! Один еще дергается...

Кто-то приблизился к телам. От страшных шагов даже трава загудела. Мажуолис перестал дышать, обвисли мускулы. Теперь казалось, что он — легче тумана. Но ему все слышно. Нет, Мажуолис не туман, не тень. У ямы лежит его тело — большое, грузное, окровавленное, оно закрыло собой даже солнце.

Бах! — грянул одиночный выстрел. Немного погоды — бах!

Мажуолис хочет вскочить, громко крикнуть — так, чтоб откликнулись люди, друзья, леса, весь мир. Сил — ни капельки. А все слышно. И даже будто видно, как палач, раскорячившись над простертым телом, щурясь, метит прямо в затылок.

Теперь он идет к Мажуолису...

Солдат сопит совсем близко. Короткий кашель. Солдат целится. Секунда. Другая. Сейчас спустит курок.

Тяжелым молотом ударило Мажуолиса по темени. Все захлестнул непроглядный мрак.

6

— Не оборвалась моя ниточка... Я один из всех уцелел, — промолвил Мажуолис.

Мои глаза не отрывались от шрама на его нижней губе.

— Шесть дырок в теле да одна в голове,— спокойно подсчитывал железнодорожный сторож.— Последняя пуля мозгов не тронула и вышла через рот. Выкрошила зубы, губу попортила.

Я глядел в его светлые, даже веселые глаза. Есть чему радоваться. Один из сотен тысяч, а то и из миллионов он может сегодня так глубоко оценить всю теплоту солнца, всю красу земли.

— А почему нас в яму не закопали, я узнал потом. Наши самолеты-штурмовики как раз вовремя налетели со стороны леса, чуть не по верхушкам сосен. Чесанули из пушек по дому за проволокой, где был гитлеровский штаб,— закружились огненным столбом бумаги. А фашисты — все врассыпную.

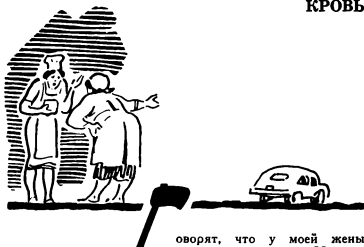
— Но откуда летчик знал, что в домике — штаб?

Мажуолис поправил фуражку, взял флажок. Выходя за дверь, лукаво улыбнулся:

— Мы уже прежде радировали об этом осином гнезде... И не только о нем.

Со стороны Скуодаса приближался товарный состав. Над рощицей клубился пар. Мажуолис развернул флажок и вытянулся в ожидании поезда.

ГОРЯЧАЯ КРОВЬ



говорят, что у моей жены очень горячая кровь. Хорошо это или плохо? Вот что однажды с нами случилось.

Вся эта кутерьма началась, кажется, в апреле. В тот день я как всегда поехал в гараж и занялся заправкой нашей «голубенькой». Так управляющий химвазы называл голубой лимузин, водителем которого я работал. Надо сказать, что начальник был вполне доволен мною. Хоть «голубенькая» — машина не первой молодости, я ухаживал за ней как за собственной.

Вдруг отворяется дверь и входит управляющий, а за ним мужчина с таким круглым румяным лицом, будто сдобная булочка. Его темные глазки искрятся, он добродушно улыбается.

— Антанас,— без предисловия обратился ко мне управляющий.— В нашем гараже произошла революция!

— Зачем так громко? — вежливо прервал его незнакомец.— Всего лишь маленькое изменение... Так сказать, небольшая перемена декораций...

Управляющий обошел «голубенькую», похлопал ее по крылу и вздохнул.

— Э-хе-хе... Что и говорить! Не машина, а картинка... — сказал он.— Подумать только: весь пол в коврах,

да в придачу две запасных покрышки... Всё отдаем, ничего себе не оставляем.

— Это тот самый мастер, о котором вы говорили? — ткнул в меня пальцем гость.

— Антанас Индра. Образцовый шофер. Машина, где он сидит за рулем, сто лет живет и здравствует.

Незнакомец вежливо поклонился, и наше знакомство состоялось: Кетис, директор экспериментального хозяйства, расположенного за городом.

Во время нашей беседы выяснилось, зачем эти начальники пришли в гараж. Оказывается, они решили поменяться машинами. Экспериментальное хозяйство берет лимузин и отдает за него новехонький, мощный, крытый брезентом «газик», который способен ехать прямо по пашням в условиях полного бездорожья.

Кетис тут же попросил, чтобы я пригнал «голубенькую» в их экспериментальное хозяйство. Вместе со мною поехал и он. Это был мирный, довольно добродушный человек в меховой телогрейке под пиджаком, с молитвенно сложенными пухлыми руками на солидном животике.

— Я слышал о вас много хорошего... — сказал Кетис, когда мы поднялись в гору и свернули на шоссе, поросшее по обочинам старыми ивами. — Женаты? Большая семья?

— Женат. Фелиция работает на ткацкой фабрике в красивом цехе. Две дочурки. Одной два годика, другой — три. Мы оба работаем, поэтому отдаем девочек в детский сад.

— А квартира у вас хорошая?

— Самая что ни есть дрянная. Одна комнатуха в старом доме. Крыша ржавая. Когда идет дождь, капает и на мою постель.

— Трудности роста! — словно кого-то оправдывая, произнес Кетис. — К тому же иногда и управдом недобросовестно относится к своим обязанностям...

— Фабрика обещает Фелиции квартиру. Жена прочно занимает очередь... Того гляди через годик-другой...

— А дырявую крышу разве вы не можете починить?

— Каждый день влезаю наверх и латаю. Но что может сделать человек, когда дом признан комиссией аварийным. Ведь строение-то со времени Гедимины... Недавно нам студенты рассказывали, что дом построен князем Огинским. Перед нашими окнами повстанцев вешали.

Директор Кетис немного помолчал, потом крикнул и вдруг довольно фамильярным тоном спросил:

— А что, если бы я поселил тебя в доме, который мы капитально отремонтировали? И перед окнами этого дома был бы собственный огород?

У меня даже сердце сильнее забилося. Я взглянул на директора. Но его одутловатое лицо лишь добродушно улыбалось. Он даже глазом не моргнул. Понимай, мол, всерьез, не шучу!

Вскоре я остановил машину у центральной усадьбы возле белого здания с высокими колоннами. Вокруг был мирный деревенский пейзаж. Покрытые серебристой весенней листвой, шумели столетние липы. Весело крикали утки. Из сада доносилось девичье пение.

Как здесь хорошо! Как темен и холоден наш древний город с его тяжелыми каменными громадами и узенькими улочками...

Директор медленно направился к зданию, в то время как я стал разглядывать завхоза, которого, как я потом узнал, местные жители из-за его длинных, седых и отвислых усов прозвали «Пилсудским».

Откуда-то появился парень с пушистой кудрявой бородкой. Он зевал со скучающим видом и поглядывал по сторонам. Это, как выяснилось, был научный сотрудник Аугутис.

Подойдя ко мне и узнав, что «голубенькая» — новый лимузин товарища директора, он потеревил свою бородку и спросил:

— Нет ли у вас закурить?

Осмотрев мою «Победу», он мечтательно произнес:

— На старой машине мы разъезжали по опытным участкам. А в этой будет курсировать по асфальту лишь директор да его жена... Даже царь Соломон не мог бы придумать лучше!

Когда я сдавал машину в гараже, подбежала рыжеволосая секретарша и захлебывающимся от волнения голосом сообщила, что меня приглашает директор.

Хотя в кабинете было тепло, директор сидел все в том же пиджаке и меховой телогрейке. Лицо у него было пунцово-красное, будто перезревший томат. Он что-то писал. Секретарша словно мышь юркнула за дверь.

— Поговорим как мужчины...— произнес Кетис.— Садись...

Это было неслыханно интересное предложение. Золотой человек этот директор экспериментального хозяйства! А как он умеет сочувствовать, как проникательно все заранее предвидит. Я крепко, с благодарностью пожал ему руку.

В сильном волнении, не медля ни минуты, я бросился прямо на фабрику, к жене. Она вышла ко мне удивленная:

— Несчастье? Ребенок заболел?

— На наш лотерейный билет выпал самый крупный выигрыш!

Я хотел было схватить ее в объятия, но она попятилась:

— Осторожно! Мы только что разливали серу!

Фелиция выслушала мой торопливый рапорт, поджала губы, но ничуть не обрадовалась.

— Мы должны подумать. Хорошенько подумать...— сказала она.— Иди домой. Вернись— поговорим.

И вот мы опять в нашей комнатухе. Темное, старомодное помещение с потолком в виде круто изогнутых арок. В окошко виднеются городские крыши — целое море черных замшелых черепиц. И в нем, будто огромные корабли, застывшие колокольни костела. Они похожи на две короны, увенчанные крестами. Вокруг них песят и переливаются бисерной лентой обитатели колоколен — голуби. Вот одна из стаяк вспорхнула и поднялась. У меня сжалось сердце. Мы с Фелицией так и не могли вырваться из этого мрачного здания... Мне вдруг вспомнились зеленые луга, ручьи, поросшие черемухой овраги, соловьиные трели...

Фелиция вначале слушать не хотела.

— Разве можно бросить работу? Что скажет бригада? Как я людям в глаза посмотрю?..

— У этих котлов с кислотами и серой ты совсем осунулась...— убеждал я Фелицию.— Глянь на фотографию, что висит на стене. Какой свежей, какой молодой ты была, когда мы познакомились в клубе связистов. А теперь...

Я, конечно, сильно кривил душой, дабы склонить ее на свою сторону. И сегодня моя жена для меня самая красивая женщина в мире. Но ведь женщины очень чувствительны, когда речь идет о красоте. Как знать, может, так мне удастся ее уговорить?

— А ты лучше посмотри на свою плешь,— отрезала она.— Когда ты ухаживал за мной, шевелюра у тебя была как у поэта. А сегодня... Фу!

Она рассмеялась, мы поцеловались, и совещание продолжалось.

— Во-первых, у нас будет отдельный домик...— я загнул один палец.— Сам своими собственными глазами видел этот домик. Пока не закончат стройку двухэтажного, в нем каких-нибудь два месяца будет жить зоотехник. А когда он переедет, деревянный домик перейдет в наше владение. Теплая, сухая квартира из двух комнат, кухня, чулан. У самого окна — огород. На грядках будут расти укроп, лук, помидоры, фасоль... Посадим яблони, груши, сливы. Тут же соорудим скамейку. Сядем на нее, а у подножья обрыва — река. Вид как в Швейцарии! Ты будешь работать в детском саду поваром. Это уже решено. Так сказал товарищ Кетис! — я загнул второй палец...— Наконец, обе девочки будут с нами. Детсад совсем маленький — всего пятнадцать ребят. Всех и забот-то кот наплакал. Каких-нибудь двести миски супа! А вернувшись с работы, займешься нашими девчурками... Как настоящая мать! Ведь теперь ты их совсем не видишь... Свежий воздух для детей — это всё. Пожалей хотя бы девочек. Пойми: нам предлагают жить на настоящем курорте, а ты упрямисься как коза... Будем получать две зарплаты, жить вместе; будем есть свежие овощи, держать поросенка, а наши девочки будут бегать, собирать цветы и плести венки... Фелиция, ты слышишь? Чего ты так долго думаешь?

В воскресенье я все же соблазнил Фелицию, и мы отправились на экспериментальное хозяйство. Ехали поездом и вскоре вышли на небольшой станции. Когда мы вошли в бор, мне почудилось, будто к нам вновь вернулись первые дни нашей дружбы. Схватившись за руки, мы бежали вперед и дурачились, как дети. Остановясь, с любопытством следили за режущейся на дереве белкой. Прижимались к старому дубу и слушали шелест его листьев.

Фелиция собрала букет полевых цветов. Несколько фиалок она воткнула мне в петлицу.

— Все это наше... — сказал я. — Все прелести лесных запахов, пенье птиц...

Фелиция счастливо улыбалась.

Придирчивым глазом хозяйки оглядела она красный домик с белыми ставнями. Мы стояли у крутого обрыва. Глубоко в овраге синела река. Пахло черемухой.

— Когда-то здесь резвились графские дочери, — шептал я жене. — А теперь будут гулять дети Фелиции и Антанаса...

Я наконец победил. Даже, может быть, не я, а эта весна. Или в этом была повинна горячая кровь моей подруги, ее чуткое сердце!

Вскоре я написал заявление и отнес его управляющему химбазы. Тот, прочтя, стукнул кулаком по столу.

— Ну и прохвост этот Кетис! — расвирепел управляющий. — Самого лучшего шофера переманил... Если бы знал, доброго слова за тебя не замолвил... Думал, ротозей какой-нибудь попался, а он, гляньте, экую штуку отколол. Ограбил, среди бела дня ограбил!

Расставаясь с подругами по цеху, Фелиция сильно нервничала. Был даже организован прощальный вечер. Правда, прошел он не совсем удачно... Больше слез было, чем радости. Думали какую-то новую бригаду организовывать, а теперь все распалось.

Фелиция вначале места себе дома не находила, металась, упрекала меня, что я в болото ее тяну. Но потом успокоилась.

— Там хорошо будет девочкам... Вся семья вместе...

Как солидного научного работника отвез я Фелицию в машину и представил директору. Он остался доволен.

— Великое переселение народов произойдет через полтора или два месяца, — сказал он. — Зоотехник уйдет, и квартира ваша. Желаю счастья!

Жена тотчас же направилась в детсад, на кухню.

И вот уже две недели, как я работаю на новом месте. Работа легкая: вожу начальника. Одним ухом прислушиваюсь, что судачат о нем. На первый взгляд это молчаливый, спокойный и упрямый человек. Часто добродушно улыбается. Но когда на его красном, лоснящемся лице бродит улыбка — попробуй угадай, сердится он или тобою любит. Узнал также, что следует остерегаться рыжеволосой секретарши. Она — отъявленная сплетница. Везде свой нос сует, ко всему прислушивается. А коли секретарша знает — обязательно узнает и директор...

Один лишь научный сотрудник Аугутис никого не боялся. Молол языком что попало...

А вообще тут довольно интересно... На опытных участках полно людей. Все они что-то сеют или сажают, потом измеряют, подсчитывают и пишут. Как говорится, экспериментируют.

Однако кое-что мне и не понравилось... Ранний картофель и другие овощи пришлось развозить по частным квартирам, к людям, которые на хозяйстве вовсе не работают. Об этом я как-то проговорился Аугутису.

— Шоферы не критикуют своих начальников! — улыбнувшись, ответил Аугутис. — Такое дело может кончиться аварией... А во время аварии шоферы первые разбивают себе лоб!

Нет, уж лучше буду молчать: ведь в новую квартиру я еще не вселился.

Но в скором времени моя Фелиция взяла да такой, как говорится, номер отколола, что у меня от неожиданности даже дух захватило! Заварила такую кашу на кухне, что я и сам до сих пор не знаю, кто ее расхлебает.

Провожая Фелицию на работу, я предупредил: заведующая детсадом — жена огородника. Их очень любит директор — по-видимому, они его родственники. Так

будь, моя милая, осторожна! Жена огородника, можно сказать, твой двойной начальник. Не зевай по сторонам, прилежно работай, готовь вкусно.

Случилось это однажды утром. Плавню внеся на кухню свою двадцатикилограммовую тушу, заведующая, краснощекая моложавая женщина, отворила продуктовый склад и стала выдавать продукты к обеду: крупу, лавровый лист, молоко, мясо, яйца, масло... Фелиция улыбалась. Вкусно пообедают сегодня малыши...

Потом она взяла перо и хотела подписать накладную. Но вдруг...

— Неужели я ошиблась? — остановилась Фелиция. — Тут записано семьсот граммов масла, а я взвесила, кажется, всего лишь четыреста... Надо еще раз проверить...

Заведующая сидела на табурете и курила папиросу. Затягиваясь и выпуская дым, она дышала медленно, с хрипом, будто расхлябанные кузнечные мехи. С упреком глянула она на недогадливого повара и сдержанно отчеканила:

— Если хочешь со мной работать — никогда ничего не спрашивай и подписывай.

— Но ведь четыре это не семь...

— Не задерживай. Распишись и затапливай печь.

— Никогда! Ведь дети же...

— Что-о-о? — Заведующую едва не хватил удар. — Ты, обшипанная курица, думаешь еще нас учить?

Фелиция бросилась к весам и еще раз взвесила кусок масла. Так и есть. Не хватает трехсот граммов. Заведующая даже не взглянула на нее.

— Ты — молодой повар и поэтому не знаешь, что каждая кухня имеет свои законы, — сказала она. — Можешь жаловаться! Но тогда...

Словом, они сильно повздорили. После этого моя сумасбродная Фелиция бросилась к директору. Секретарша не хотела ее впустить. Как же так? В кухонном халате прямо в кабинет, где дорогие ковры и кресла... Из кухни никто сюда в таком наряде не ходит. Но до чего у моей Фелиции горячая кровь! Она оттолкнула секретаршу и ворвалась без предупреждения.

Кетис сидел в мягком кресле. В кабинете было жарко, директор, как обычно, был в меховой телогрейке, сильно потел и клевал носом.

— Это позор! — внезапно проснувшись, встревоженно крикнул он. Ноздри у него дрожали, щеки покрылись багровым румянцем, а темные глазки растерянно моргали. — Я выясню... Я вас позову.. Я... я...

Через час Фелицию вновь пригласили к директору.

— Очень жаль, но у вас... — он поднялся с кресла, — у вас нет квалификации повара... А тут еще спор... Говорят, вчера обед был невкусный... Я понимаю, вам трудно... Прямо от чана с серным раствором... У нас ведь другие рецепты... Переведем вас в полеводческую бригаду. Только не подумайте, вы не лишитесь работы, нет, нет. Летом в поле лучше, чем у горячих котлов...

Это было полной неожиданностью для Фелиции. Она горько расплакалась.

Между тем вскоре во дворе, а потом и среди других работников хозяйства пополз слух о трехстах граммах масла. Люди шептались. Один лишь Аугутис громче чем когда-либо смеялся:

— Внимание! На сковородке масло! Ну а теперь что положим? Может, цыпленка? Или утку? Или, может, индейку?

Всю ночь я не спал, размышлял о том, что случилось. Не спала и Фелиция. Я чувствовал, как дрожат ее худенькие плечи. В окно лился синеватый лунный свет. Фелиция не плакала, притворяясь спящей. Мне было ее страшно жаль.

Рано утром Фелиция поехала на работу. Но у котлов стояла уже другая женщина. Будто сторож сидела заведующая у дверей на табурете. Ее двойной подбородок вздрагивал. Но глаза глядели холодно и спокойно. Увидев Фелицию, она равнодушно промолвила:

— Посторонним вход воспрещается!

Что же еще сказать?

Газеты пишут, что в таких случаях следует обращаться в комиссию по трудовым конфликтам или в профсоюз... Я напомнил об этом Фелиции.

— Ты наивный простак! — ответила она. — Хочешь просить милостыню? Все мечтаешь о домике с белыми

ставнями? Неужели ты не понимаешь, что не это самое главное?

Я притворился, будто не расслышал ее.

— У тебя, Фелиция, слишком горячая кровь...

Она печально глядела на тополь, с которого медленно падал пушок.

Мимо проходил завхоз. Увидев нас, он подошел и прошептал:

— Эх вы, юнцы! Почему не посоветовались со старшими? Таков уж нрав нашего директора. Станешь предлагать или вводить какое-нибудь новшество, посоветуешь — глянь, и разозлится... Страсть какой строгий!

— Старая тряпка ваш директор — вот кто он! — крикнул я, разозлившись. — Его бы в котел да как следует выварить!

— Такого варева даже наши свиньи не жрали бы, — сочувственно, но шепотом ответил завхоз.

— Пойдем, Антанас, — позвала меня жена. — Отдай ему ключ от машины, и пойдем...

Разве я мог послушаться мою милую Фелицию?

Вчера я стал работать на грузовике в одном техникуме.

Фелиция еще хозяйничает дома, как может сводит концы с концами и старается, чтобы в нашем старом гнезде был уют. В тот же день, везя дрова, я увидел на улице Аугутиса. Он радостно тряхнул своей русой бородкой и остановил машину.

— Дай закурить! Да, кстати, скажи свой адрес. Давно хотел тебя встретить. Мы пригласили одного корреспондента... Он три дня у нас пробыл, все как есть обследовал. Потом комиссия какая-то приезжала. Кого не спросят — все о твоей жене говорят, о ее горячем, но правдивом нраве. Гроза, брат, гроза надвигается... Что ни говори, а горячая кровь может не только бурю, а настоящий ураган вызвать. Передай жене привет!

ОДНАЖДЫ ЛЕТНЕЙ НОЧЬЮ



ел я в школу в первый день после каникул и заранее переживал. Сейчас одноклассники заметят у меня на лбу здоровенный синяк и закричат на все лады: «Кто ж тебя так разукрасил? Ты прямо морской пират! Го-го-го!»

В классе меня считали ловким боксером, будущим морским волком, словом — крепким орешком, и вдруг...

Почему я не успел отвернуться, отскочить и уклониться от удара? Замешкался, а то и испугался. Вот этой минутной слабости не могу себе простить!

Со вздохом я еще ниже опустил голову.

До школы было около двух километров. Я пошел напрямик через луга. Казалось, в это пасмурное утро даже ветер заунывнее завывает в кустах дикой смородины. Чтоб хоть немного отвлечься, я сунул руку в карман куртки — там лежали мои записи летних впечатлений. Навряд ли вы знаете, что придумали мы, десятиклассники, перед каникулами. Каждому — искать встречи с интересными людьми, описывать разговоры с ними, заносить в свою книжку всякие веселые и грустные происшествия. А приедем, раскроем свои записи. Внимание —

проверим: кто больше заметил и увидел, кто интереснее провел лето?

Немало бродил я по путям-дорогам. Побывал в незнакомых деревнях и местечках. Добрался до Куршского залива. У нас возле деревни — только ручеек, через который легко перепрыгнуть с ходу. А здесь такая ширь! Залив меня покорила на всю жизнь. Я принял твердое решение — во что бы то ни стало работать на море и отдыхать только у моря. И если бы не эта шишка на лбу...

А начиналось все как будто неплохо.

Дошел я до залива. За Прекуле свернул направо. Большак привел меня к длинному, прямому каналу, обросшему ивами и ольхами, который течет наперерез по зеленым лугам вдоль залива и соединяет реку Минию с Клайпедой. В одну из усадеб у канала переселилась после войны моя тетка.

Она приняла меня с распростертыми объятиями, отвела комнату на чердаке. Распахнув окошко, я увидел серебристый залив. Повеяло освежающим ветром. Над крышей летали чайки.

— Хочу поработать с рыбаками, — объявил я удивленной тетке. — Не будет возражать ваш председатель артели?

— Наш председатель от учеников не отмахивается, — ответила тетка. — Нынче их полно и в парниках, и в тепличках. А на рыбку, Гедас, опоздал. Второй год в заливе лов запрещен. Там теперь молодую рыбу растят.

Вот тебе и на!

— А что делают артельные рыбаки?

— Одни капусту да огурцы сажают, другие корма для скота заготавливают, строят каменные хлева. Мало ли работы?

Я даже опешил. Спешил в море к рыбакам, а они, оказывается, высадились на сушу. Перевернули осмоленные лодки, спрятали просушенные сети. Сами рыбу в лавке покупают.

Тетка угостила меня супом из гусиной крови с клецками, сунула сладкий сырник. И рассказала про рыбацьи невзгоды:

— Был тут один заводила. Считал себя первым ум-

ником. Никого не признавал. И захотелось ему больших заработков — чтоб в одну ночь разбогатеть. Он и привез несколько невиданных сетей, которые-де с самого дна морского все богатство подбирают. Старые рыбаки почуяли недоброе — пощупали невода, закачали головами и стали объяснять. Длинные сети, мол, только в море хороши, а в мелководье, в заливе выгребут весь рыбий корм, уничтожат мальков. А тот человек и в ус не дует — выплыл с новыми сетями, за два месяца наловил пропасть рыбы. Говорят, огреб большую премию. Ну и что с этого? Против природы пойдешь — себя и обидишь. Вот и вымел рыбку начисто. Теперь годами нужно ее заново выращивать...

— Куда же девался этот проходимец со своими погаными сетями? — возмутился я.

— Люди прогнали. Перебрался, прохвост, на южный берег. Там шмыгает, как голодный ерш. А к нам не смеет и носа показать.

Я не совсем поверил рассказам трещотки-тетушки, Неужели мне не придется поплавать на моторных ботах? Пошел к председателю. Увидел человека в черном костюме, лет пятидесяти, с темными, сверкающими глазами, серебристыми висками, с виду — строгого, гордого, упрямого.

Ошибся я. Председатель Вайшвила первым крепко пожал мне руку, назвал свою фамилию.

Вайшвила подтвердил тетины слова. Лов рыбы временно прекращен. Однако нос вешать не следует. Дела налаживаются. Правительственные учреждения выделили средства, машины. Создано хозяйство нового профиля. Никто не сидит сложа руки. Найдется работа и для меня. Разумеется, если я приехал не лодыря гонять, не воробьев ловить.

Разговорились мы о рыбьих обидчиках. Председатель резко заметил:

— Сегодня молодежь ловить может только отпетый браконьер. Браконьерство — это язва! Таким разбойникам нет пощады. Они рубят ветку, на которой мы все сидим.

Я понял, что если такой хищник угодит в руки председателя, то уж получит по заслугам.

Узнав, что моя мечта — править моторным ботом, председатель сдвинул седоватые брови и сердито спросил:

— А в моторах кое-как разбираешься?

Собравшись с духом, я признался, что больше смыслю в мясорубке, чем в лодочном моторе. Но научусь! Вайшвиле понравилась моя откровенность.

— Ладно — дуй к нам в гараж. Там завал моторов и запчастей. Перевероши все это вверх ногами, тогда ни при какой волне не утонешь.

И на прощание опять протянул мне тяжелую, будто чугунную руку.

В гараже я только полдня чувствовал себя посторонним. А потом привык. Через неделю заводил и выключал мотор, разбирал его до мельчайшей детали.

Больше всех мне там понравился Эвальдас Смалва. На голову выше меня, энергичный, ловкий, всегда с засученными рукавами, в сплющенной как блин финской шапке, здороваясь и прощаясь, он вскидывал руку к замасленному козырьку.

— На кладбище я вырос, — признался мне Эвальдас. — Ни дома, ни родни. А жрать хочу как волк. Наберегу где попало яблок, морковки, брюквы, сырой капусты и айда на кладбище — спать. Если поздно кто идет мимо, басом гаркну. Улепetyвают старушенции без задних ног... — и Эвальдас покатылся с хохоту.

Я не сомневался, что он самый храбрый из всех парней. Шофер третьего класса, иногда пиво пьет с автоинспекторами, на довольно помятом самосвале возит удобрения, торфяную крошку, шлак для хозяйственных строек. Дружит с кассиршей районного банка Агуте, носит в кармане губную гармошку.

— Выиграю в лотерею «Волгу», — говорил Эвальдас, — посажу Агуте, и поедем посмотреть на самые большие города в мире.

Эвальдас иной раз позволял мне братья за руль. За это я мыл его самосвал, менял продырявленные шины. Председатель заметил нашу дружбу и предложил:

— Поезди с Эвальдасом! Он — толковый. Может, и баранку даст покрутить. Ему больше по полям прихо-

дится раскатывать, так что не страшно — ты всех берез не переломаешь.

Прямо прилип я к Эвальдасу. И он как будто не отвергал моей дружбы. Я ему демонстрировал, как в вечерней спортивной школе обучают боксу. Иногда рассказывал содержание прочитанных книг. Сначала Эвальдас внимательно слушал. Но потом, словно устыдясь того, что сам не раскрывает книги, стал насмехаться надо мной: я-де желторотый маменькин сынок, книжный червь.

— Слаба у вас печенка, ученички,— поддразнивал меня Эвальдас.— На все смотрите по-книжному. Прически у вас красивые, а довелось бы на снежку, на ватничке заночевать, ох как бы заплакали...

Его болтовня меня раздражала. Но возражать я не рисковал — не ровен час рассердится и не даст больше управлять машиной.

— Что делать, чтобы у нас было меньше врагов? — однажды утром спросил меня Эвальдас, когда мы привезли несколько грузовиков камней и уселись тут же во дворе перекусить.

— Не делай другим свинства, и врагов не будет! — ответил я.

— А если другие тебе пакости устраивают?

— А ты им — в морду! — сказал я сердито. Не нравился мне этот экзамен.

— А если враг очень силен?

— Драться до последнего!

— Ишь какой прыткий,— усмехнулся Эвальдас, отправляя в рот густо поперченный помидор.— А знаешь, что в мире на сто трусов — один храбрец? Сам-то ты смелый?

Я промолчал. И Эвальдас закончил:

— Не путайся под ногами у тех, кто посмелее, тогда не наживешь и врагов.

Совет меня озадачил. Но я ничего не сказал Эвальдасу. Ужасно хотелось водить грузовик по большаку. Мое молчание Эвальдас истолковал как свою победу.

— Садись! Бери руль! — скомандовал он.— Только не пережимай газа, а когда переключаешь скорость, не дергай.

Так мы ездили до поздней ночи. Повернули на шоссе,

чтобы сократить путь до гаража. Эвальдас правил, как всегда, высунув локоть из кабины, одной рукой держась за баранку.

От мотора несло теплом. В кабине было жарко.

За поворотом вспыхнул огонек — лампочка над открытой дверью белого домика.

Перед домом стоял старенький, помятый «Москвич», рядом о чем-то толковали несколько мужчин, а в сторонке, на скамеечке, сидели две женщины с узлами.

Эвальдас тормознул и медленно подъехал к закусочной. Из раскрытого окна неслась музыка. Я знал, что здесь мой приятель на минутку приземлится, поглядит, нет ли знакомых, желающих поднести стаканчик усталому шоферу. После работы Эвальдас не уснет, если не прополощет рта пивцом.

Он пошел покачиваясь, а я схватился за руль и вообразил, что мчусь с дьявольской скоростью. Эвальдас ни разу не доверил мне машины на шоссе...

Через полчаса он опять появился в дверях. Рядом с Эвальдасом ковылял сутуловатый человечек с несоответственно узкими плечами, в серой шляпе, нахлобученной на глаза, с портфелем в руке. Он осмотрел наш грузовик, словно собирался его покупать.

Эвальдас и незнакомец остановились в тени самосвала и о чем-то совещались вполголоса. Догадаться было, пожалуй, нетрудно: какой-нибудь индивидуальный застройщик договаривается с Эвальдасом привезти графия, кирпича или камня. Иногда даже председатель отряжал Эвальдаса кому-нибудь в подмогу.

После краткого разговора они забрались в кабину, крепко меня стиснули. От Эвальдаса шибало пивом. Незнакомец закурил, блеснув передними металлическими зубами. На меня он смотрел угрюмо, с прищуром.

Мы развернули машину и по темному шоссе поехали прочь от гаража.

— Парня мог бы оставить! — резко сказал чужой, потирая ладонью подбородок.

— Сказано тебе — свой в доску! — отчеканил Эвальдас.

Я был очень благодарен, что он не высадил меня из кабины, — а то пришлось бы несколько километров плестись до тетушкиной усадьбы.

С шоссе мы повернули к побережью. Дорога была очень узкая. Ветки хлестали по стеклу, царапали кузов. Незнакомец втянул шею в узкие плечи, приплюснул нос к стеклу. Он смотрел напряженно, словно опасаясь заблудиться в этих кустах. Под колесами чавкали лужи, трещали корневища. Весною эти места заливают — даже в середине лета здесь сыро.

— Стой! — тихо прохрипел чужак. — Развернись!

Автомашина осветила фарами кусты.

Незнакомец быстро выскочил из кабины, не выпустив из рук портфеля, и скрылся в темноте.

Эвальдас сидел за рулем, покусывал губы и странно посмеивался. Я слышал, как укладывали груз в самосвал. Большой и тяжелый. Бух! Бух! — стучало что-то вроде ящиков. Я гадал: доски, бревна, мебель?

Машину быстро нагрузили. Опять появился человек в серой шляпе. Он встал на цыпочки, а Эвальдас, открыв дверцу, перегнулся и слушал его шепот.

Дальше мы ехали вдвоем, так и не увидев, кто помог этому человеку нагрузить машину. Меня разбирало любопытство: что мы везем?

Когда выехали из кустов на шоссе, Эвальдас подбодрился и даже стал посвистывать. Он обратился ко мне:

— Чего молчишь, будто язык проглотил? Со смельчаками не пропадешь!

— Горячего бы сейчас поесть, — сказал я.

— Я тоже проголодался, — согласился Эвальдас. — В Шилуте остановимся, а потом — свободны.

В городке мы остановились у закусочной. Двери на запоре, света нет.

Эвальдас, не выключая мотора, побежал в соседний двор. От долгого сиденья у меня ломило кости. Я вылез поразмяться. Сбоку наш грузовик казался пустым.

Я вспрыгнул на колесо и заглянул в кузов. Там белело три или четыре ящика. Оторвав дощечку, сунул руку в один из них. Нашупал что-то скользкое, холодное. Запахло тиной и морской водой. Но я никак не мог схватить то, что там лежало: оно выскальзывало.

Я перевесился через борт и запустил в ящик обе руки. Наконец за что-то ухватился. Большая рыбина,

настоящая морская красавица, трепетала в моих ладонях.

Мы — браконьеры?!

Я прыгнул с колеса как оглушенный. Бежать? Скрыться? Или же прикинуться, что ничего не видел?

Одеревенелыми ногами влез я в кабину и сел. Казалось, слышно, как в ящиках трепыхаются, задыхаются рыбины... Плачет и стонет ветер. Вдыхает обокраденный залив. А на берегу валяются опрокинутые лодки.

Мимо шли запоздалые прохожие. Хотел их окликнуть, но не решился.

Руки невольно поднялись, нащупали ключ от подъемного механизма. Завывая, стал подниматься кузов. Раскрылся задний борт. И я услышал, как летят вниз и падают ящики.

Вдруг как из-под земли вырос Эвальдас. Схватил меня за пиджак и вытащил из машины. Я споткнулся, упал на мостовую, но быстро вскочил на ноги. Эвальдас замахнулся. Я не успел отскочить, и удар пришелся по лбу.

Нас обступили люди. Кто-то направил фонарик. Луч осветил разбитые ящики. В одном из них подпрыгнул желтоватый лещ и опять бессильно шлепнулся, подергивая хвостом. Рыба блестела на мостовой, поблескивая мертвенными глазами...

Вот и школа. Не очень веселый, поднимаюсь я по лестнице. Не будь на лбу этой гули, может, я и похвалился бы своим приключением в летнюю ночь. А теперь придется помолчать — хотя бы пока не исчезнет синяк.

Вдруг меня подхватили руки. Много рук. Я лечу к потолку. Вверх и вниз. Много раз.

— Ура! Ура! Ура!..

Смущенный, покрасневший, вырываюсь из объятий друзей:

— Одурели, что ли? Вот еще придумали шутку!

Но они только улыбаются. Значит, Вайшвила написал в школу письмо. Улыбаюсь и я. И забываю про шишку на лбу.



аниэлус Кряуна тонким фальцетом напевал:

Как-то раз красotka Лена
Гуся резала поленом.
Уж пилила, так пилила,
Пока жизни не лишила...

Удобно привалившись к бревенчатой стенке и выставив ноги в шерстяных чулках на самую середину горницы, он намотал на шомпол жгутик из пакли и надраивал ствол своего ружья.

Даниэлус был совершенно один. В окошко сочилось тусклое зимнее утро, стекла подрагивали от внезапных порывов ветра. Пахло картошкой и простоквашей. В печи весело потрескивали сухие поленья, розоватые тени крадучись скользили по полу.

Выспавшись всласть, подкрепившись на славу, Даниэлус собирался на охоту. И не просто так, а — с собственным ружьем! Приобрел он его только вчера у одноглазого дядюшки Тамошюса, закоренелого браконьера. Какое имеет значение, что эта «двустволка короля Людовика», как ее называл Тамошюс, порядком изъедена ржой, поистерлась, потрескался приклад! Зато курки звучно щелкают, а к меткости боя не придерешься. Дня

два-три подряд Даниэлус и Тамошус испытывали ружье в березовой роще. И ни разу не промазали! Попали и в березу, и в старый картуз Даниэлуса, и в дубовый пенёк. Тамошус ещё ворону уколошил. Окоченевшая и сонная, торчала она на осине. Дядя Тамошус осторожно, по-лиси, подкрался, прижался к елочке, приложился — паф!.. Ворона растопырила крылья и шлеп на землю.

— Центральный бой!.. — пояснил старый Тамошус, подмигивая здоровым глазом и приподнимая за крыло мертвую птицу. — Королевская двустволка! Не веришь — прочти.

Даниэлус свято верил Тамошусу. На стали вычеканены непонятные слова: «Creuzot Forgeron». Только что прокатилась война. Даниэлус по азам разбирает немецкий, но это уже не то по-английски, не то по-французски. А рядом ещё — королевская корона.

— А до чего оно легкое, братец мой! — раскачивал Тамошус ружье на вытянутой ладони. — Руки не отянет. А коли целый день по мокрым пашням лазить — это уже важная штука! Тогда каждый лишний грамм — как камень! Эх, не понадобится мне высокие чеботы — я бы ни в жисть со своим «Людовиком» не распротислся...

За ружье Даниэлус отдал новенькие хромовые сапоги и в придачу — пятнадцать червонцев. Правду сказать, ухлопал полностью премию, полученную из «Заготзерна» за успешную перевозку хлеба. Гайлюнене, прыткая старушонка, тетка Даниэлуса, у которой проживал парень, нещадно пилила племяша:

— Уж от этого лешего путную вещь выцарапаешь! Тамошус сам что угодно соплет — только отвернись... Его и старый лесник за дичь по судам таскал. А теперь наверняка с него шкуру спустят! Чует кот, что нашкодил, так и следы замечает.

Слушал эти разговоры и Тамошус и только рукой отмахивался. Он оставил себе другое ружье, зарегистрировался у уполномоченного по охоте.

— Без меня в лесу не обойтись! — говорил он своим соседям. — Если бы не мое ружьишко, волки давно бы ваших овечек задрали!

Молодого шофера сблизила с Тамошюсом еще одна причина. Как-то раз он навестил старика — слушал его рассказы, осматривал оружие, приучался рубить дробь, взвешивать порох, загонять войлочные пыжи — и заметил на кухне миловидную девушку, которая жарила дикую утку. Дочь нисколько не походила на отца. Привеистый красномордый Тамошюс с рубцом на носу, с жесткими волосами, с прищуренным незрячим глазом выглядел матерым волком, не раз отведавшим свинца. А хрупкая девушка с тонкими ручками, с белоснежной шеей, с тугой грудью, которой не скрадывало ситцевое платьице, казалась редкостным украшением лачужки, пропахшей звериными шкурами.

Даниэлюс все чаще поглядывал на девушку, а та, наоборот, становилась все застенчивее.

«Вот это — ягодка! — думал Даниэлюс Кряуна с приятной, еще неизведанной теплотой. Все чаще и чаще тянуло его к Тамошюсу. — Стану охотником — совсем пойдет дружба со стариком! Придется захаживать, советоваться... И Эяна, Лена рядышком!»

К большому огорчению тетки, Даниэлюс не торгуясь согласился на запрошенную цену. Он принес Тамошюсу сапоги, отсчитал червонцы и получил ружье с четырьмя зарядами. Конечно, маловато... Но старик обнадежил Даниэлюса, что договорился с уполномоченным по охоте, и тот твердо обещал гильзы такого калибра. А пока и четыре патрона — неплохо. Сменишь капсюли, насыплешь пороху и дрови — опять зарядишь. Ведь гильзы-то не бумажные, а из отличной меди. Им нет переводу! А когда зарядов мало — бережнее будешь с ними!

Поглядывая на Эяну, Даниэлюс признавал все доводы Тамошюса. Где же тут спорить, когда на тебя устремлены два глаза, словно спелые вишни!

А девичьим глазам было на что дивиться!

Эяна и раньше примечала, как пригожий молодец проезжал, ухватившись за огромный руль, улыбаясь и что-то напевая. Грузовик вихрем пронесился по деревенской улице, дребезжали стекла в избах, земля тряслась... Как разгонит смельчак свою машину — кажется, подхватит он крылом придорожные березки и взлетит в самые облака.

Подумает об этом Эляна и вдруг пугается... Не дай бог, еще что-нибудь с ним стряется!

Заслышав громыхание грузовика, она выбегала на дворик. Долгим взглядом провожала окутанную облаком пыли машину. А совсем недавно Даниэлус в школе пугал младшеклассниц — швырял в них головастиками, цеплял на спины репы...

Теперь Даниэлус уже не шалопай, а прославленный водитель. Про него даже раз в газете писали. Это они вдвоем с механиком Акулёрайтисом отремонтировали какую-то повозку на резиновом ходу, прицепили ее к грузовику, и получилось вроде поезда. Вдвое больше зерна забирает. Правда, Даниэлус теперь уже не мчится с такой быстротой — прицеп надо тащить осторожно. Но зато над крылом машины — палочка, а на палочке — кумачовый флажок, возвещающий: едет передовик транспорта!

И вот однажды у хлева залаяла собака. Эляна выглянула в окно. И ах! — во двор вошел отец, а следом за ним — улыбающийся Даниэлус. У Эляны затряслись руки, жарко запыхали щеки. Она бросила в сторону вязанье, раскрыла настежь дверь, а потом опять села к столу и ухватилась за спицы. Не смела глаз поднять, а пальцы дрожали и не находили петелек...

Правда, Даниэлус с отцом разговаривали только про охоту, про волков, про капсюли и войлочные пыжи... Но Эляна все равно чувствовала большую радость и вместе с тем какую-то оторопь.

Развалившись на табуретке, Тамошус ладонью поглаживал выпяченную грудь и сипло бубнил:

— Коли ты выстрелил и волк лежит ничком, гляди: уши у него стоймя или нет? Коли уши прижаты — с ружьем незаряженным не подходи. Живой еще, бестия!

Вместе с Даниэлусом Эляна охотно слушала про лесные приключения, которые казались ей необыкновенными, хотя, по правде говоря, в эту минуту она думала не о подстреленном волке, ляскающем зубами, а о живом, пышущем здоровьем Даниэлусе.

Потом их взгляды стали встречаться всё чаще, и оба привыкли читать в них многое. Оставаясь один, Даниэлус пел, норовя как-нибудь вставить имя Эляны, Лены.

Иногда от этого страдал песенный размер, но паренек, как опытный музыкант, сам вносил исправления. Так получилась песня про красотку Лену. Так зародились и другие песни Даниэлюса, трогательные и веселые.

...Даниэлюс прочистил смазанный ствол, размотал с шомпола паклю. Фланелевой тряпичей от истрепанного теткинго платья протер курки, целик...

Сегодня к десяти обещал приковылять Тамошюс. В сторожке их ждут Акулёрайтис и другие. Лесник вчера приметил кабанов. Всем приятен запашок кабаньего окорока, а особенно молодым охотникам. Даже тетка, уходя помолиться, сказала:

— С пустыми руками не ворочайся, Даниэлюс... Без мяса в животе гудит, как в костеле от органа... А коли подстрелишь в лесу кабанчика, нам—большое подспорье.

Сегодня Даниэлюс чувствует себя бодрым и сильным. Подвернись только ему кабан с задранными клыками — он не моргнув уложит зверя. Ничего теперь Даниэлюс не боится. А Эляна первая узнает, какой он стрелок. Только Даниэлюс вспомнил о девушке — посуровевшее лицо снова смягчилось.

Одно сердило отважного Даниэлюса — сегодня у него всего два заряда на кабанов... Никак не возможно промахнуться... И вообще — придется нажать на дядюшку Тамошюса — пусть рассчитается полностью. Ведь нужен еще патронташ. Какой же это охотник без пояса, в котором не два, не четыре, а двадцать четыре гнезда для патронов!

Даниэлюс пальцами ощупывает свою талию. Вот с этого бока он бы засунул жаканы, а дальше — для зайцев, рядом — для куропаток, справа, чтоб легче вытащить, — картечь.

Парень взял на ладонь подарок Тамошюса — два заряда, будто крупные стручки, наполненные кусками черного свинца. Потом опустил их в ружье. Прошелся по комнате, прижимая двустволку к плечу и целясь. Эх, покажись ему кабан...

В сениях затопали, кто-то стряхивал снег, осторожно звякнул засовом. Даниэлюс стыдливо отложил ружье — еще чего доброго застанет его врасплох Тамошюс, как он балуется с двустволкой...

Кто-то зашел на кухню. Раздался грубый, незнакомый голос:

— Есть кто дома?

Даниэлус подтянул шерстяные чулки и зашлепал на кухню. У порога, не снимая ушанки, стоял рослый, дюжий мужчина с черной как смоль бородой, в поношенном бараньем полушубке, высоких сапогах, на которые свисали замасленные ватные брюки.

— Здесь живет шофер Даниэлус Крюна? — спросил чернобородый, исподлобья глядя на парня.

У Даниэлуса в глазах потемнело. Полицейский Казлас... Тот самый, которого прозвали «Вермахтом»... Последний из банды, разгромленный этой осенью... Все помнят, как он тащил шкафы расстрелянных людей, волок узлы одежды с запекшейся кровью. А потом, когда немцы удрали, Казлас, будто бешеный волк, рыскал по лесам...

Даниэлус Крюна почувствовал, как спину обожгла внезапная боль, перехватило глотку, подкосились ноги... «Точь-в-точь такой, как люди рассказывают... И борода, и глаза... — мелькали обрывки мыслей. — Вот как-ков этот душегуб... Теперь за мной пришел...»

Все еще в ушах Даниэлуса отдавались слова: «Здесь живет Крюна?»

— Здесь... живет... — пробормотал парень похолодевшими, словно чужими губами. Он видел, как повел локтем бывший полицейский, готовясь что-то вытащить из кармана.

— А сам он дома? — спросил Вермахт, все так же беспощадно пронизывая взглядом Даниэлуса. С заиндеветых лохматых бровей чужака скатилась капля, и он злобно моргнул.

Это вернуло Даниэлусу самообладание. «Значит, он меня не знает!» Что делать дальше, — Даниэлус еще не сообразил. Но ноги больше не дрожали, и голос стал тверже.

— В отъезде... — облизывая сухие губы, ответил Даниэлус.

Пришелец поморщился. Под глазом у него дернулся багровый мешок, пролежавшие от губы две морщинки шевельнулись. Вермахт шмыгнул протруженным носом.

— Нету? — недовольно произнес он. — А ты кто такой? Документы есть?

Даниэлус медленно ответил:

— Есть... доку... менты...

Парень понял: пробил его смертный час. Никто не узнает, что здесь произошло. Даже Эляна, милая, родная Лена. И вдруг Даниэлуса охватила страшная ярость. Парень стиснул зубы так сильно — чуть не треснула челюсть. «Умирать? Нет! Не желаю!»

Ненависть породила отвагу и силу. На мгновение повернувшись спиной к бандиту, Даниэлус как очумелый метнулся в каморку.

Он схватил двустволку, припал к столу. На кухне из темноты сверкнула молния. Грянул пушечный выстрел. Пуля со свистом впилась в бревенчатую стенку. Посыпались осколки разбитой рамки. Дрожащим пальцем нажал на курок своего «Людовика» и Даниэлус. Стрелял не целясь в раскрытые двери, в маячившую фигуру нападавшего. Комната наполнилась клубами густого, горького дыма. Звякнули оконные стекла. Грохот собственного выстрела окончательно привел в себя Даниэлуса. Он напряг слух. Зрение.

На кухне стояла тишина.

Вермахт, казалось, растаял впотьмах. Но нет! За деревянной перегородкой, отделявшей кухню от коморки, что-то зашуршало. Послышался злобный и глубокий вздох. Бандит замер за дверным косяком. Молчал и Даниэлус.

Даниэлус даже удивился: как легко складывались мысли. «Нюхнул моего пороха, Вермахт? Вылезай, покажись!» Даниэлус сообразил: лучшее укрытие — печь. Он напрягся, прынул, как быстроногий олень.

Стук прыжка переполошил Вермахта. Полицейский выставил пистолет, вслепую выстрелил и тут же отдернул руку. И залег, невидимый.

Даниэлус, затаив дыхание, через облупленный край печи наблюдал за дверью. Две пули не причинили ему вреда. Но положение было безнадежное. Оставался единственный «кабаний» заряд... Надо беречь боеприпасы.

Зловеще тянулась тишина. Видно, это трепало нервы Вермахту. Он постукивал ногами, скрипел подошвами. Из-за косяка показался даже край его полушубка. Щелкнул замок парабеллума — видно, Вермахт менял обойму.

Потом Казлас осмелел и снова высунул руку с пистолетом. Выстрел. Даниэлус только криво усмехнулся: «Хочешь увидеть, где я — высунь свой нос».

Тишина приводила в неистовство Вермахта.

Он стрелял все чаще. Высунет руку и выпалит в один угол комнаты. Переждет минутку, опять выставит кулак и уже посылает пулю в другой угол. Потом он стал делать по два выстрела подряд...

Даниэлус считает: восьмой!

Парень молчит, только пот струится по лицу, весь подбородок мокрый — соленые капли затекают в рот. Но чем больше беснуется враг, тем спокойнее юноша.

На кухне опять лязгнула сталь. Матерый убийца привычным движением сменил опустевшую обойму. Громко высморкался и заворчал:

— И не таких я приканчивал...

Потом Вермахт непристойно выругался и снова высунул руку. И не только руку, но и локоть. Казалось, что он сию минуту заглянет к Даниэлусу и увидит, где прячется парень.

Даниэлус не выдержал. Ему показалось, что черная прорезь парабеллума глядит прямо на него. Обороняясь от этого страшного глаза, он лихорадочно вскинул «короля Людовика». И сразу нажал на крючок, торопясь выстрелить первым.

От непривычного грохота задрожала избушка. Белесоватая завеса дымного пороха разделила обоих. В комнате стало темно и душно.

И в тот же миг Даниэлус услышал тяжелое падение тела.

Прежде чем юноша успел что-либо разглядеть, с треском распахнулись двери в сени. Спотыкаясь как пьяный, потеряв ушанку, чуть не на четвереньках, бандит вывалился во двор. Видна была наклоненная широкая спина. Вермахт свалился за порогом. Но сразу поднялся, каблуком захлопнул дверь.

Воцарилась тишина. Струя холодного воздуха из сених рассеивала дым, который извивался большими клубами, поднимался к потолку, прятался под столом.

«Сейчас швырнет гранату», — подумал Даниэлюс. Он занял новую позицию у стенки — подальше от окна.

Сквозь изукрашенное ледянными цветами стекло не было видно, что творится на улице. Только ухнул ветер, подергал отставшую у стрехи доску, зазвенел в проволоке антенны.

Ружье теперь уже не поможет. Даниэлюс отшвырнул его на теткинну кровать. Двустоволка увязла в высоких подушках. А парень схватился за топор.

«Хочешь — лезь в окно, в двери — встречу тебя одинаково».

Молчанье и ожиданье истомили Даниэлюса. По плечам прошла легкая дрожь. Парень долго и жадно пил из ведра холодную воду. Посредине кухонного пола валялась чужая ушанка, какие-то обломки, у порога поблескивала кровавая лужица.

Полчаса спустя приковылял Тамошюс с пустым ягдташем, с ружьем на плече, печально помаргивая здоровым глазом. От дядюшки разило самогоном. На дворе мело, погода не годилась для охоты. Потому Тамошюс и выпил малость.

Но старик сразу встрепенулся, как только узнал о происшедшем. Опытный следопыт, Тамошюс установил, что рассыпанные кусочки железа — обломки пистолетного прицела. «Кабаний» заряд сбил целик, а потом попал куда надо.

— Сам своими руками отливал этот жакан. Вижу, Даниэлюс, братец ты мой... В хорошие руки попал «Людовик»!

Тамошюс по кровавому следу за ольховником обнаружил место — там лежал бандит и кто-то его перевязывал. Потом Вермахта тащили волоком. Часто останавливались передохнуть.

Брошенные вещи, кровь, извалянный снег — все говорило о том, что бешеный волк совершал свой последний путь.

Разбушевдалась метель. Снег замел следы.

Не отыскался след и весной. Никто в округе больше не встречал Вермахта. Люди вздохнули с облегчением.

Почти десять лет спустя мне довелось побывать в отдаленном городке. Была устроена плановая охота с загонщиками. Тут я и познакомился с Тамошюсом, основательно постаревшим, но еще подвижным и крепким. А старик познакомил меня со своим зятем Даниэлюсом Кряуной, который по-прежнему пользовался «Людovicом», но уже с полным патронташем. Во время второго загона Кряуна подстрелил красавицу лису. В свою сумку он сунул лисицу так, как подобает опытному охотнику: головою вниз, чтобы кровью не испортить шкурки. А хвост — пышный, золотистый царский хвост лисы он выставил наружу. Когда Даниэлюс шагал, лисий хвост соблазнительно развевался, вызывая зависть у неудачливых участников охоты.

Тамошюс проворно ступал по тропинке, вытоптанной Даниэлюсом. Изредка ревниво поглядывал на вздувшуюся сумку зятя и, словно успокаивая себя, громко шептал:

— Кому же, как не маленькому Даниэлюсу... шубка будто на заказ. А теплая, а радость какая мальчонке...

ГАРМОНИЯ ДЖАЗА



яди и тетки я не видел, как выражаются поэты, с незапамятных времен. Правда, они приезжали на похороны отца, но что могло с тех пор сохраниться в памяти?

Я, растерянный шестилетний несмышлениш, стою возле гроба, все еще надеясь, что отец вот-вот приподнимет голову с набитой стружками подушечки, откроет запавшие глаза, пошевелит крепко сжатыми губами, рассмеется и заговорит.

День был серый, ветреный. Шептались старые клены, падали желтые листья... Мужики с лопатами подравнивали бугор, положили на него венок из дубовых листьев и еловые ветки. Земля забрала отца.

На прощанье тетушка подарила мне отличные коричневые штанишки, а дядя — матросскую шапочку с лентой. В нашей деревне все это было тогда в диковинку. Бабушка наряжала меня в обновки только перед костелом. Ребята мне завидовали и даже не осмеливались дергать за ленточку бескозырки. Взрослые шептались за моей спиной:

— Это — сын Анзельмаса. Хотя и сирота, а далеко пойдет. Видал, как его родичи наряжают? У него дядя в Вильнюсе — сила!

Когда я научился царапать пером по бумаге, не сажая клякс, бабушка иной раз меня усаживала на-

писать дяде и тете, поблагодарить за присылку двадцати рублей и посетовать, что, мол, крыша у нас прохудилась и картошка нынче, видно, будет очень дорогая.

Окончил я четыре класса, еще год-полтора провалялся в деревне. Потом бабушка собралась в дом престарелых, а я отправился к дяде — поговорить, за что мне братья. Так и соседи советовали.

Приехал я в Вильнюс поздно — уже ночью. Шел дождь. Из темноты сверкали желтые глаза автомобилей. Они пугали меня, и я слонялся по вокзалу как неприкаянный, не зная, куда идти...

В буфете продавала горячий чай седоватая женщина в белом халате. Я заплатил ей несколько копеек. Она стала расспрашивать, откуда я, дала мне даром к чаю еще и сухую булочку.

Узнав адрес дяди, буфетчица только руками развела:

— Промокнешь как лягушонок! Ведь это на другом конце города! И автобусы уже не ходят.

Она велела мне вынести два ведра ополосков и пообещала за это пустить переночевать.

Слово свое буфетчица сдержала. Жила она недалеко. Там в комнате спал еще ее сын, и так храпел, что не почувал ни зажженного света, ни наших шагов. Мне буфетчица постелила на полу. В окошко хлестал дождь, но от странного потолка, изогнутого как костельные своды, становилось тепло и уютно. Я скоро уснул и проснулся рано утром. Сын хозяйки, еще сонный, шел к умывальнику и споткнулся о мою ногу. Это был рослый парень с густыми светлыми волосами и длинной мускулистой шеей. Он зевнул, как жеребенок, показывая крупные и крепкие зубы, подставил шею под кран, утерся и напаялил пропитанный маслом комбинезон.

Зашумел примус. Мать говорила с сыном, а я опять погрузился в пучину сладких снов.

Оставил я эту добрую женщину, когда город уже гудел от шума.

— Заходи — расскажешь, как устроился, — напутствовала меня буфетчица. — Мы вроде родственники.

Мой Креступас с твоим дядей на одной фабрике. Только твой дядюшка — о-го-го-го! Ступай и не обижайся, что жестко было спать.

До дядино дома я шел долго, не торопясь. Голова кружилась от множества синих, желтых, черных машин, от гудения моторов. А дома-то какие красивые, а улицы-то! Сердце колотилось от радостного волнения. После дождливой ночи ярко зеленели липы, в скверах было полно цветов.

Меня встретила тетушка и долго рассматривала близорукими глазами, поеживаясь в длинном одеянии, подол которого волочился по полу. Мне понравилась материя — по ней порхали зеленые и синие птички. Из большой комнаты в открытую дверь неслась приятная музыка. Такой я еще никогда не слышивал. А когда тетушка двигалась, казалось, будто на ее халате под веселую музыку птички начинают махать крылышками.

— Ах, какая сегодня чудная гармония джаза! — радостно вздохнула тетушка. — Сказка! Мечта!..

Тетушка, слушая музыку, поводила плечами, словно собиралась вспорхнуть вместе с птичками своего халата. Она даже со мной не разговаривала, пока не кончилась передача. Когда в приемнике послышались слова на непонятном для меня наречии, тетушка еще раз вздохнула.

— Эльжбета! — позвала она женщину из кухни и велела поджарить грудинку с луком.

И вдруг лицо у тети исказилось, словно от зубной боли:

— И ты ночевал у незнакомых? На полу?..

Тетушка подскочила, подозрительно посмотрела на меня, двумя пальцами перевернула мои волосы.

— Перхоти как будто нет... — тетушка осторожно исследовала мою шевелюру, словно боясь, как бы откуда не выпрыгнул какой-нибудь необыкновенный жучок. — Эльжбета! Завтракать — потом. А сейчас — ванну! Немедленно!

Повинуясь тетушке, я намылился душистым мылом, выкупался в беленькой ванне.

Вот пришел и дядя — коренастый, лицо крупное, красное, подбородок округлый, жирный, шея толстая.

— Запишем тебя в рабочий класс. Сейчас ведь он всем верховодит. Буржуям дали по шапке. А кроме того, — обернулся он к жене, — племянничек займет жил-площадь. Домоуправ не сможет придраться.

Эльжбета подала обед. Поджаренные куски индюшатины плавали в горячем красном соусе. Дядя пригласил отобедать какого-то костлявого, темноволосого гражданина с перекошенным лицом, которого почти-точно называл товарищем юрисконсультom. Возле индейки появилась бутылка водки, одобренная для вкуса стаканчиком коньяка.

— Чего стесняешься, сиротка? — обратилась ко мне тетушка, включив радио и вернувшись за стол. — Приучайся к вилке. Тыкай в тот кусок, который на тебя смотрит. Сам накладывай, не стесняйся!

Я погрузил вилку в птичью ножку. Язык прилип к небу — так было вкусно! На дне миски плавали черные сливы. Их я взял несколько штук.

Юрисконсульт тоже положил себе на тарелку солидный кусок. Они с дядей всё поднимали рюмочки, толковали об арбитраже, фасонном железе, вагонах.

Наелся я так, что даже глаза слипались. Юрисконсульт, допив кофе, простился и, шагая осторожно, как цапля, ушел.

Дядя развалился на диване. Утирая платком потные виски и потягивая минеральную воду, он говорил мне:

— Устрою тебя на фабрику, поговорю с отделом кадров. Найдем какую-нибудь штатную единицу. Учеником или даже чернорабочим. С первого же дня — зарплата!

Тетушка курила и крутила ручку приемника.

— Парню пальца в рот не клади! — обернулся к жене дядя. — Небось сегодня первым всадил вилку в индейку. Самый жирный кусище отхватил. Пока я собирался, мне остались рожки да ножки. А ему — хоть бы что. Уписывает, жир с подбородка течет. Так всегда и хватай, парень! В городе никому не давай спуску.

— Помолчите! — взволнованно крикнула тетушка. — Гармония джаза!

Комнату наполнили острые, быстрые, тревожные, то-ропливо-нежные звуки.

— Гармония джаза...— повторяла тетушка.— Разве есть что-нибудь удивительнее на свете?

После сытного обеда и минеральной воды дядя пыхтел, как кузнечный мех.

— Не храпи, дорогой,— попрекала его тетушка.— Когда я тебя приучу чувствовать хорошую музыку?

Вот так я и начал городскую жизнь. Дядя устроил меня на фабрику оцинкованной жести и эмалированной посуды. Причем — без особого труда. Он там замдиректора по снабжению. Его все слушаются, бегают к нему за советами, требуют материалов. А он только кричит да кричит в телефонную трубку, даже стены конторы дрожат.

Тетушка заведует дамской парикмахерской. Она — незлобивая, разговорчивая. Бывало, курица, купленная ею на базаре, перед тем как лишиться головы, снесет свежее, тепленькое яичко. Об этом необыкновенном подарке вскоре узнают соседи, знакомые, продавцы в магазинах — полгорода. Кроме того, тетушка очень верила в сны. У нее даже был истрепанный довоенный сонник.

И все-таки мне в этом доме было очень хорошо. Незлюбила меня только толстая Эльжбета. Голос у нее — как у лесоруба: заорет, даже в ушах звенит. А кухарке было за что обижаться. У дяди — три комнаты, а при кухне — маленькая каморка с окошечком в потолке. В ней и проживала кухарка, развесив по стенам образа святых. Когда я вернулся с фабрики с выпачканными локтями, тетушка вселила меня в каморку, а Эльжете пришлось ставить на ночь раскладушку на кухне. За такое вторжение она, видно, и решила не прощать мне до последнего вздоха. Увидит меня — вздернет нос, отвернется и без конца брюзжит, будто от меня несет смолой и керосином и теперь этим запахом провоняет все жаркое.

Не хотелось мне попадаться на глаза этой брюзге, в особенности потому, что она ябедничала тетушке, всячески старалась меня выжить.

Нашел я и друзей, с кем скоротать вечерок. Отгадайте, кто был моим лучшим приятелем? Да Креступас!

Сын той вокзальной буфетчицы — возле его кровати я спал первую ночь в Вильнюсе.

Встретились мы с ним на фабрике, при ваннах для эмали. Он был на четыре года старше меня — умница, изворотливый, смелый до нахальства.

— Недисциплинированный и неотесанный молоко-сос! — сказал в обеденный перерыв Криступас, ткнув меня в грудь. — Приходи после обеда в волейбол покидаться.

— Не умею.

— Потому и зовем. Научим!

Я пошел. Понравилось. Я и вообще-то был крепышом, а когда у меня мяч, никто меня с места не сдвинет.

— Не человек, а слон! — негодовал Криступас. — Черт знает, как толкаешься! Всем кости переломашь. Разве так можно?

Но никто не спешил прогонять меня с площадки. Мы готовились к соревнованиям с мясокомбинатом. А там парни крепкие, рослые.

На встрече мы одержали победу. Я стал своим человеком.

Потом организовали группу и стали на досуге перекапывать землю под самыми окнами цеха. А в ней и ржавые куски железа, и витки проволоки, гнилые обрезки досок, в тени растут поганки, из-под разрытогохлама выползают испуганные дождевые черви...

Пришел мой дядя с туго набитым портфелем, перетянутым ремнями. Удивленно посмотрел:

— Вы что — золото ищете?

— Посадим цветы! — крикнули наши девушки. — Георгины, астры, гвоздику, ночные фиалки...

Дядя пожал плечами, улыбнулся.

— Чудесно! Украшайте жизнь, — сказал он, уходя. — А я фотографа вызову. Обнарудую в печати!

Посадили мы зелень, поставили две скамейки. Цветы вначале росли плоховато. То ли им пыль из цеха не понравилась, то ли семена попались негодные. Чуть-чуть зеленеют порывевшие головки. Но Криступас не унывал. Едим мы в обед бутерброды. Глядит он на чахлые цветочки и говорит мне:

— С неба слоеные пироги не падают. Приведем садовника. Может, забыли про удобрение?

В это время во двор въехала платформа с известью. Правил фабричный шофер, смуглый кривоногий парень с оттопыренной губой. У него несколько дней назад чуть не отобрали права: шпарил куда-то без путевки.

А известь, привезенную для ремонта цеха, надо было выгружать прямо через окно. Кривоногий дал задний ход и, как ни в чем не бывало, вспахал колесом край цветника. А то и к окну не подъедешь. Вот разо-злился Криступас! Во рту кусок — слова не выговорит, глаза навывкате.

— Вон из машины! — крикнул он наконец. — Рази-ня! Куда прешь?

— Подумаешь, — оранжерей! Сначала сопли утри! Из-за твоих дохлых стебельков ремонт останавли-вать? — Шофер выскочил из кабины и воинственно под-боченился. — Бери, таскай известь! Я не могу с маши-ной проstaивать!

Криступас — горячий, порывистый — схватил шофера за грудки. Да и тот не робкого десятка. Вижу, Кристу-пасу несдобровать. И я двинул шофера плечом. Тот еле устоял на своих колченожках. Знаю — драться не-красиво, но злоба взяла. Понятно, подбежали товари-щи, разняли, но на этом ссора не кончилась.

Обруганный шофер еще долго препирался, но по-том отогнал машину, руками засыпал глубокую колею, на карачках поправил клумбу. Однако он не мог вернуть жизни смятым цветам. Так этот клочок и остался голый.

После описанной стычки мы с Криступасом еще боль-ше сдружились. Ходили на танцы в торговый техникум, вместе пили пиво, бывали на катке. Только у меня веч-ный конфуз: пусто в кармане. Зарплату получаю, как все, да много дыр. Дядя говорит:

— И брюки мои таскаешь, и хлеб мой ешь. А разве бабке, которая тебя растила, не нужно каждый месяц кой-чего подкинуть? Кто поможет старому человеку, ес-ли не молодое поколение?

И правда... Ничего не скажешь.

Дядя ко мне относился неплохо. Предсказал, что я стану квалифицированным электромонтером. В следую-

щем году пойду в вечернюю школу. Потом — в техникум. Получу отдельную комнату. Встречу девицу, которая будет только мне одному улыбаться.

А тетушка, слушая джаз, посмеивалась:

— Я тебе такой свадебный стол закачу, какого и у министров не бывает. А твоей красавице сделаем самую лучшую прическу. Только приведи ее к нам в салон.

Такие разговоры вгоняли меня в краску. Ведь девушки у меня еще никакой нет. Иной раз кажется — дядя с теткой просто меня разыгрывают, чтобы веселее провести вечер. Как только заведут эту шарманку, я — в каморку, шапку в охапку и в город, к Криступасу.

Эльжбета буравила меня злобным взглядом и шипела, как старая гусыня:

— Не хлопай дверьми! И поздно не припрись, — хоть волком вой на лестнице, не впусти!

Я с каждым днем становился смелее.

Мы с Криступасом, Циплюкасом, Бамберисом, Ваткой из котельной получили справки о состоянии здоровья и стали ходить в вечернюю школу. Долго ли мы там выдержим, еще не знаем. Но терять времени нельзя. А то потом придется локти кусать.

Все мы вчетвером — закадычные друзья. Что один задумает, то другие поддержат. А вожак у нас — Криступас. Кипучая голова! Чего он только не придумывает! Но однажды горячая головушка Криступаса накликала на меня несчастье.

Вздумалось Криступасу помогать охране фабрики. Это значит, что он зорко следит — кто что хочет спереть. А расхитители еще не перевелись. Таким Криступас и подставляет ножку. Обязанности, прямо сказать, не из приятных. Приходится и ссориться, на собраниях ругаться, в стенгазету пописывать. Иногда так даже и друзей лишишься.

Но Криступас только посмеивается:

— Опасность — для меня хлеб насущный. Люблю воришек за хвост хватать. Извиваются, как дождевые черви, да не увильнут!..

И вот мой лучший друг Криступас, сражаясь против беспорядка, в один прекрасный день впутал меня в неприятнейшую историю.

В тот ненастный вечер я работал во второй смене. Монтер вышел покурить. Я один-одинешенек. Посвистываю и вожусь — чищу керосином разобранный статор. Вдруг вбегает Криступас:

— Брось всё — и за мной!

— Что случилось?

— Сам увидишь!.. — Криступас бежал, только брызги из луж летели во все стороны.

Обогнув цех покрытий, котельную, мы очутились у склада. Под освещенным окном стоял грузовик. Прислонившись к кузову, кривоногий шофер курил и чего-то ждал.

— Вот! — воскликнул Криступас. — У него наряд на жесты! А под низом — ящики с гвоздями.

Отвисшая губа шофера опустилась еще ниже. Он швырнул окурок, тупо уставился на нас, будто его кто колом по башке огрел.

— Ах ты, курица облезлая! — крикнул Криступас, забираясь в кузов. — Альгис, смотри — гвозди! Будешь свидетелем! Я давно за ним приглядываю. Поймал наконец!..

Шофер сунул руки в карман и пробурчал сдавленным голосом:

— В сумасшедший дом вас надо...

Криступас злобно рассмеялся, спрыгнул с машины и приказал мне:

— Не отходи ни на шаг. Сейчас найду начальника охраны. А ты и не пытайся уезжать! — пригрозил он шоферу. — Никуда не денешься. И в пекле найду!

И мигом исчез во тьме.

Шофер словно проснулся. В руке у него блеснул французский ключ. Глаза засверкали, как у волка. Сейчас ударит! Я отскочил.

— Не смей! — и оглянулся: что бы мне схватить.

Но колченогий передумал. Прыгнул в кабину. Рванул руль. Загудел стартер.

Забыв всякую осторожность, я тоже бросился к кабине:

— Ни с места! Ворюга!

Я был готов ответить на удар ударом, хотя и не знал, удастся ли справиться с таким ловким коротышкой.

Шофер трясся как в лихорадке. Вдруг нагнулся совсем близко к моему лицу. Я думал — плюнет мне сейчас в глаза.

— Отойди! — сипел кривоногий... — Не меня... Дядю родного за руку схватил! Понимаешь, — дядю!

Я отпустил дверцу. Машина помчалась через двор.

Раздались крики:

— Стой! Держи! Закрывай ворота! Не пропускай!

Подоспели Криступас и еще несколько человек.

От ветра стучали доски забора, гнулись старые высокие клены. К моему лицу прилип мокрый лист. Я со злостью смахнул его. Было ужасно неприятно — будто я упал в помойку...

В этот вечер я крался в дядину квартиру, как кошка. Рассчитывал, что все уже легли, мне удастся прошмыгнуть в каморку, забрать пожитки и уйти. Но тетушка читала потрепанный роман. Радио разносило жалобы скрипки. Ужин для меня стоял на столе. Я тихо примостился на краешке стула, не чувствуя ни малейшего аппетита. Тетушка затараторила: им дали участок в самом лучшем районе, будут строить дом, сегодня она говорила с архитектором, тот обещал самый лучший проект...

У дверей позвонили. Я почувствовал озноб. Вошел дядя. Я уткнулся в тарелку с простоквашей.

Тетушка нежно заворковала мужу:

— Ты сегодня так рано убежал... Не успела тебе даже сон рассказать! Так интересно: мне приснились королева и свинья. Корову, кажется, зарезали, и ты влез в ее шкуру... А я шла мимо, и у двери хрюкала свинья...

— Вот эта свинья! — завопил дядюшка, показывая на меня. — Вон из моего дома!

От его крика закачалась люстра. Я бросился в каморку и наскочил на Эльжбету, которая за дверью подслушивала семейные тайны. Кажется, поставил ей немалую шишку на лбу.

— Свои же всегда и предают! — причитал дядя, мечась по комнате как подстреленный зверь.

— Давно я барыне говорила! Зачем только этого поганца на порог пустили,— прикладывая ко лбу мокрую тряпку, бубнила Эльжбета.

Все мое добро поместилось под мышкой. Как-то не верилось, что дядя на дорожку не даст мне тумака.

Когда я уже выскользнул за дверь, он словно очухался.

— Оставайся ночевать! — снова рявкнул* он.— Может, чего еще придумаем! Возьмешь назад свои показания...

Я засвистел какую-то «джазовую гармонию». Пусть знают, что я кое-чему у них научился. Перескакивая сразу через две-три ступеньки, я спускался вниз.

Не терпелось примчаться к Криступасу. Там под сводчатым потолком, верно, найдется местечко и для меня.

КИЛОМЕТРОВЫЙ СТОЛБ «147»



Много дней, а иногда ночей провожу я за рулем, устремив взгляд на ленту шоссе. Мои ноги редко шагают по земле, и жизнь идет на резиновых колесах. Вдоль и поперек изъездил я Литву. Все километровые столбы мне хорошо знакомы. Когда рядом нет пассажира и мне скучно, я говорю с дорожными знаками.

Припоминаю столбы, мимо которых вскоре после войны, болезненно побряхтывая, проносилась моя старая трофейная таратайка. Будто издеваясь надо мной, она обычно выпускала свой последний вздох в осеннее ненастье или когда пальцы начинал пощипывать мороз. Не было случая, чтобы она портилась, когда я проезжал мимо колхозных девушек, теребящих лен, или около прозрачной речушки, или возле сельской избы-читальни, новый пол которой из еловых досок звенел как хрусталь от веселого топота.

Всегда карбюратор выходил из строя, крышка лопалась, ремень вентилятора рвался в какой-нибудь непролазной дыре — на болоте возле перелеска, в сумерки, вдали от человеческого жилья... Я был молодой парень и с лица ничего, и ревнивая старушка, по-видимому, мстила мне, уводя подальше от людей и их общества.

Помню я также дорогой для меня километровый столб, следом за которым показывался коричневый домик закусочной сельпо с завешенным куском белой марли кухонным окошком... Там поджидала меня самая красивая, самая милая девушка... Правда, теперь она уж не такая милая, частенько меня ругает, хоть по-прежнему самая близкая.

Помню я и те километровые столбы, возле которых разбивались, сталкивались и переворачивались мои дружки шоферы. Чего только не случается на больших проезжих трактах!

А вот и километровый столб «147»! При виде его меня и теперь в дрожь бросает. Да, и пережил я минуточку!

Ездил я в ту пору уже не на трофейной старушке. Первым в нашем гараже получил я новехонькую четырехтонку. Сам секретарь вручил мне ключ. За руль новых машин у нас в первую очередь сажали тех водителей, имена которых долгое время не сходили с Доски почета.

Любят говорить: «Чувствую себя как на седьмом небе...» Есть ли такое многоэтажное здание человеческого счастья, не знаю. Однако мне в ту пору так везло, что каждый мог позавидовать. С Альдоной я уже поцеловался и мы договорились решительно обо всем. Свадьбу собирались сыграть сразу же, как она возьмет отпуск. В предместье Паневежиса я снял комнатку, купил широченную кровать, белый буфетик, а портной уже скроил синий бостоновый костюм. Я привыкал носить твердые крахмальные воротнички, учился завязывать галстук. Признаться, мне все эти атрибуты эlegantности ни к чему были. Воротник рубашки я застегивал лишь с наступлением зимы. Но Альдона приказала: именно так, а не иначе надо принаряжаться к свадьбе. Разве будешь ей перечить? Она была девушка молодая, но с характером. Она даже придумала было, что целоваться можно только после свадьбы. Тогда все позволено... Но как оказалось, у нас была горячая кровь, а не ключевая водица.

Шли последние дни мая. Отцветали сады. Зеленые лужайки были запорошены опавшим яблоневым цветом.

Всю дорогу в открытое окошко кабины доносился не только дурманящий запах цветов, а и шепот Альдоны. Рядом со мной сидел бывший саксофонист, человек с синим, как слива, носом, в пестрой куртке, застегнутой до подбородка. В годы гитлеровской оккупации его жена держала небольшую чайную. Там он играл на своем саксофоне, заманивая клиентов отведать тушеной капусты и жиденького пивца. Но вскоре они повесили замок на двери чайной и бежали туда, где процветает частная инициатива. Где-то около Куршенай к беглецам присоединился бывший бургомистр. Однажды утром бедный саксофонист, протерев глаза, не нашел своего саксофона, полосатых визитных брюк и жены со всем капиталом чайной. Ретировался и бургомистр со своей клетчатой дорожной котомкой. Все это потрясло столь нагло обманутого музыканта. Он вначале расплакался, потом вырезал березовую палочку и, перейдя вброд Вен-ту, вернулся на родину. Ныне он экспедитор, персона весьма серьезная и до глубины души ненавидит женщин. Зовут его странно — Орион. Так окрестили родители, ибо он появился на свет поздней осенью, в ту пору, когда на небе ярко сверкает это созвездие.

Мне пришлось много путешествовать с Орионом. Мы развозили сахарный песок сельским потребителям. Экспедитор был откровенен со мной, и я отвечал ему тем же. Он совсем не радовался моей дружбе с Альдоной. Изо дня в день Орион твердил, что я все равно разочаруюсь в семейной жизни и обязательно захочу покончить с собой.

— Человек! Любовь — это могила. И ты по своей воле в нее лезешь? — спрашивал меня Орион, удивленно потряхивая жиденькой козлиной бородкой.

Но Орион не мог убедить меня отказаться от будущего несчастья. Я упрямо готовился к семейной жизни. Экспедитор только плечами пожимал, по-видимому примирившись с таким ходом событий. Все же время от времени он не забывал меня инструктировать:

— Ты не спускай с жены глаз ни на минуту. Кругом подлецов сколько угодно... Они быстренько твой

дом помойной ямой сделают... И в гостях следи за женой. Станет ей весело, знай: запахло опасностью. Ты ей пальтишко на плечи и уводи оттуда. Будь всегда строг. А то в три ручья плакать придется.

Потом, о чем-то задумавшись, Орион долго глядел на просторы полей, на одетые в серебристую зелень березы, на белые стайки облаков.

Лицо его было грустным и вялым, а губы дрожали. Казалось, вот-вот расплачется. Жалел я этого неудачника, сердце которого оставалось глухим к радостям жизни. Иногда хотелось сказать ему доброе ободряющее слово. Но он вдруг приходил в себя, вздыхал и изрекал:

— У всех баб совесть как сажа... Что баба, что черт — все едино!

Тогда я злился, и доброе слово застревало в горле... Как смеет он так гадко думать о моей ласточке, об Альдоне!

Однажды мы подъехали к большой старой деревне. Избы тонули в тени столетних кленов. Ветви придорожной рябины забарабанили о кузов машины.

— Здесь люди издавна знают секрет приготовления вкусного пива, — оживившись, сказал Орион. — Давай остановимся и попросим налить нам полведра. Эх, пиво, пиво, оно на радость нам дано! Все едино: настоящей жизни нет — давай хоть выпьем!

Я отрицательно покачал головой. Хотя я вообще и не большой трезвенник, однако сегодня пить не хотелось. Всего лишь шесть километров до районного центра. Надо будет остановиться около закусочной. Альдона, конечно, встретит меня, ведь она работает на кухне поваром. Только не подумайте, что моя Альдона — это толстенная кухонная девка, от которой за километр разит чесноком и рыбой... Моя Альдона совсем молоденькая, худенькая, русоволосая девушка, недавно окончившая техникум. В искусстве приготовления вкусных обедов она смыслит не меньше, чем инженер в высшей математике. У Альдоны есть диплом, а половина трудовой книжки заполнена благодарностями. И если она заметит, что от меня пахнет пивом, а я сижу за рулем, тогда моя песенка спета... Она строже и неумолимее

автоинспектора. Однажды я с ней даже повздорил. «Любить не буду, никогда не поцелую, дружба врозь, если ты хотя пять граммов выпьешь в дороге. А теперь в первый и в последний раз прощаю». Она бы выполнила свою угрозу. Альдона — девушка на загляденье, красавица. Многие шоферы с нее глаз не сводят, подарки ей возят, умоляют, чтобы она их приняла. Слов нет, конкуренты очень серьезные. Вот я и тороплюсь увезти ее отсюда. И горжусь, что ее выбор пал на меня из всех проезжающих мимо закусочной. Да неужели я дурак? Из-за глотка пива я не стану рисковать своей судьбой, ссориться с любимой.

Орион глубоко вздохнул.

— Человеке! — подняв палец, произнес он, будто пасть в нагорной проповеди. — Ты потворствуешь женщинам... С закрытыми глазами ты приближаешься на край пропасти...

Но я так и не успел ему ответить.

Крутой дорожный поворот скрывался за густо разросшимся кустарником. Вдруг перед нами сверкнул велосипед, мелькнуло яркое платье, на мгновение глянули расширенные от ужаса глаза... Девочка-подросток вынырнула подле самой машины. Она беспечно катила посреди дороги, по-видимому, во второй или, может быть, в третий раз в жизни усевшись на велосипед. За ней бежало несколько ребят.

Я резко повернул машину к обочине. Одно колесо скользнуло в ров. Что есть сил налег на тормоза. Но все было напрасно. Девочка появилась слишком близко, слишком внезапно.

В то же мгновение велосипед ударился о крыло машины и, жалобно звякнув, рухнул набок. Бежавшие вслед за ним дети прыснули во все стороны, как встревоженная стая воробышков.

Я остановил машину, насмерть перепуганный. От толчка девочка полетела в ров, наполненный ржавой водой. Плюхнувшись туда, она так и осталась лежать неподвижно раскрытыми глазами, безжизненно устремленными на плывущие по небу облака.

— Ты не виноват! — заорал Орион. — Гони что есть сил...

Машинально открыв дверцу, я молча глядел на девочку. Холод сковал меня. Кто-то из мальчишек вдруг взвизгнул:

— Жибуте убили! Велосипед поломали! Жибуте убили!..

Орион глянул на девочку и с горечью произнес:

— А ведь она и в самом деле мертвая. Беги или не беги, все едино: тюрьма обеспечена...

Эти слова заставили меня вздрогнуть и очнуться. Я выскочил из машины, подбежал и нагнулся над девочкой. На ее загоревшей ножке виднелась ссадина, из которой струйкой стекала кровь. Лицо было бледное. Головка наполовину погрузилась в тину, и в полураскрытые губы вливалась ржавая вода. Опасаясь, что девочка может задохнуться, я приподнял ее.

В деревне слышались крики.

Итак, все кончено. Миновали чудесные весенние дни. Разбились мечты.

Молча и осуждающе глядел на меня Орион.

Вдруг оцепенение и страх сменились во мне внутренним протестом. Ведь я же не виноват!

Девочка была неосторожна, она сама попала под грузовую машину. Водитель не в силах избежать катастрофы, когда сам велосипедист бросается под колеса...

Я нагнулся и осторожно поднял девочку. Она была легка как перышко. Возбравшись в кабину, я завел мотор и двинулся в путь.

Позади послышался дикий, душераздирающий крик:

— Гляньте, убили, а теперь увозят ее... Стой! Стой! Стой!

Я увеличил скорость. Орион, трясущимися руками поддерживая девочку, не мог вымолвить ни слова. Только бормотал:

— Ну, знаешь... Ну, знаешь... Это неслыханно...

С бешеной скоростью мчались навстречу телеграфные столбы, березы.

Через несколько минут вдали мелькнула усадьба лесничего, а за ней коричневый домик закусочной сельпо. Белая марля на окошке слегка всколыхнулась, потом все

смешалось в сером тумане. Мне почудилось, что девушка, стоящая у дровяного склада, помахала рукой. Но я не осмелился еще раз взглянуть и проверить. Неужели это была Альдона?

Я остановил разогретую машину у здания районной больницы. Нас обдало поднимавшимся из-под колес облаком пыли.

Держа на руках девочку, я вбежал в раскрытую дверь и положил ее, теперь не помню, на кровать или на застланный белой простыней стол. Передо мной мелькнули незнакомые взволнованные лица.

— Вот... Возьмите... Похороните...

Потом, повернувшись, вышел, сел на ступеньку крыльца и дрожащими пальцами судорожно взъерошил волосы.

Итак, все кончено. Теперь мне все равно. Пусть отнимают права, ключ от машины, пускай арестовывают. Теперь я все потерял. И себя, и Альдону, и свою честь...

От перегретого радиатора поднимались струйки горячего воздуха. Он дурманил меня. А из открытого окна доносился визгливый голос:

— Километровый столб сто сорок семь... сто сорок семь...

Я подал человеку в белом халате свой бумажник с документами. Теперь мне ничего не надо...

Через полчаса передо мной вырос запыхавшийся милиционер. Вначале он потряс меня за плечо и с любопытством заглянул в лицо, а потом тяжело поднялся по лестнице.

Я все еще сидел на прежнем месте.

Откуда-то вынырнул мотоцикл с прицепной коляской. Из него вылезли двое. Один из них, схватив охотничье ружье, подскочил ко мне.

— Подобру признавайся, где спрятал ребенка?! — заорал он.

Народ все прибывал. Какой-то здоровенный детина, вдвое выше меня, схватил меня за ворот:

— Убил, украл и бежал, проклятый дорожный бродяга!

Это было свыше моих сил. Однако никто не хотел

меня выслушать. Я защищался как мог, но разъяренные крестьяне скрутили мне руки. Казалось, они хотят со мною расправиться. Из деревни, близ которой случилось несчастье, приехал колхозный грузовик. Оказывается, они за нами гнались... Из кузова посыпались мужчины, женщины, даже детвора. Во дворе поднялся невообразимый гам. Экспедитор Орион выскочил из больницы и заорал тоненьким, испуганным голосом:

— Пустите его, ради бога! Ведь ребенок здесь, у врачей...

Орион попал в объятия крупной рыжеволосой женщины. Она так жалобно зарыдала, что даже у бесчувственного человека могло дрогнуть сердце.

— Ваша дочь жива... Я сам видел, как она открыла глаза... Если не верите, то спросим у врача...

Мать девочки и Орион исчезли за больничной дверью. Однако крестьяне не отпускали меня и, будто опасного преступника, крепко держали за локти. Они не знали, дать ли мне взбучку сейчас, или обождать, когда выйдут врачи и милиционер. В толпе мелькнуло печальное лицо Альдоны. Она пробралась сквозь толпу ко мне. Она дрожала.

— Винцас... — прошептала Альдона и умолкла. Она глядела на меня не спуская глаз, в упор, будто пытаюсь навеки запомнить мои черты.

Подошел врач в белой шапочке, коренастый, круглолицый:

— А ну-ка дыхни...

Не удовлетворившись этим, доктор поднял указательный палец и поманил меня:

— Поди сюда, голубчик. Поди, поди, чего стесняешься? Проверим как следует. А что девочку привез, за это тебя ругать никто не будет...

Потом мы вернулись к километровому столбу «147». Милиционер что-то измерял, записывал, осматривал отпечатки покрышки. Орион, вновь обретя присутствие духа, то и дело совал свой сизый нос, объяснял. Он даже успел побывать в семье пострадавшей девочки, поговорить с рыжеволосой женщиной и выпить кружку пива.

— Чудеса, да и только! — вернувшись, сказал он. — Оказывается, не тюрьму ты заслужил, а медаль на

грудь! Дело аннулируется. Я и мать Жибуте защитил. Милиционер обвинил ее, что она пускает ребенка под машину. Но разве она, бедняжка, виновата? Вдова... Кто посочувствует ей?

И он так хитро подмигнул, что я даже рот раскрыл от изумления. Неужели это тот самый грозный проповедник, обвинявший женщин во всех смертных грехах?

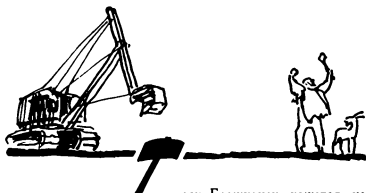
Милиционер целый час допрашивал и записывал. После этого я вновь сел за руль. В тот день еще прекраснее показался мне весенний наряд ярко-зеленых березовых рощ. Легкий ветерок был теплым и ласковым, и машина как птица летела по черной ленте шоссе.

Чего-чего только не случается на извилистых дорожных трактах, у бесчисленных километровых столбов?..

И сегодня, когда я вижу 147-й километровый столб, я знаю, что мне обязательно надо остановиться в старой деревне и навестить жизнерадостную, щебечущую Жибуте, нашего новоиспеченного зоотехника. На ее левой ножке и теперь виден давно заживший шрам. Мне хочется увидеть не только эту веселую девушку, но и побеседовать с ее болтливой, хлебосольной и еще больше располневшей мамашей, а также встретить бывшего своего спутника, экспедитора Ориона. Теперь он ничего общего не имеет с сахаром. Орион стал отцом Жибуте. Что и говорить, очень хозяйственный человек. Покармливая на ферме кур, он садится в избе у открытого окошка и, к великому удовольствию и радости деревенских ребят, наигрывает на саксофоне. Музыкальный инструмент приобрел для него колхозный клуб. Когда я подъезжаю, Орион играет марш. Эта дружная семья с большим удовольствием угощала бы меня от зари до зари. Однако я побаиваюсь слишком разгуляться. Мой милый, но сердитый повар очень враждебно относится к моим холостяцким слабостям. Альдона с каждым годом за это меня все сильнее отчитывает. А вообще любит и кормит прекрасно.

Эх вы, дорожные столбы и столбики, дальние и заветные, опасные и чудесные!..

КОЗИЙ КОРОЛЬ



аурасу Гражулис, кажется, на роду написано было стать мелноратором. Ему всего двадцать три года, холост, знаменитый сорвиголова, непоседа, которому нипочем бродить из деревни в деревню, с одного болота на другое, еще почернее. Гражулиса даже скука берет, если кругом все течет как спокойная река, без каменистых порогов, без шумных омутов,— словом, когда день проходит без особых передряг и сотрясений.

— Ну и тип! — скажет кто-нибудь. — Где только вырос такой любитель сильных ощущений? И должно быть, частенько приходится ему скучать — ведь всяких недоразумений и сумятиц у нас становится все меньше и меньше...

И все-таки, бродя по отдаленным углам, трясинам и пустырям Литвы, Таурас Гражулис все еще находит такие «чертовы пороги». А ему того и нужно.

Конец лета застал экскаваторщиков у неприметной деревушки недалеко от Шатейкяй.

В субботу мелнораторский лагерь опустел. Кто поспешил на вечеринку в ближнее село, кто уехал в районный городок.

Тяжелый жребий сторожить стоянку на этот раз выпал на долю Таураса Гражулиса. Сами понимаете: ма-

лое удовольствие в соблазнительный субботний вечер одиноко торчать у сонных машин. Но так придумал новый мастер, Костас Микутис. Он недавно вернулся с военной службы, и его не переубедишь, — так и режет с солдатской прямоотой:

— Не потому, что воров боимся. Прохожий трактора не прикарманит... Но побольше уважения к собственному лагерю, ребята. Что это за форпост новейшей техники, если любой пастушок может тут беспрепятственно открывать гайки?

Гражулис без всякого восторга остался на субботу и воскресенье охранять твердыню техники. С расстегнутым воротом томился он на лесенках походного домика. А домик — вагончик с полукруглой кровлей и маленькими окошками на четырех железных колесах — стоял в тени плакучих ив. Деревья зелеными косами прикрывали окошки. Когда ветер шуршал в листьях, Таурасу чудилось, будто где-то шепчется его далекое счастье.

Лагерь огибала дугой железнодорожная ветка Тельшай — Клайпеда. В вечерующей тишине на тонкие телеграфные провода садились ласточки, словно музыкальные знаки на нотную бумагу. Теплый воздух касался этих живых струн. Таурас так и ждал: сейчас раздастся колыбельная, а потом зазвучит сказка далекого детства...

В такие ласковые, за душу хватающие вечера невольно задумываешься. Размышлял и Таурас, чувствуя себя одиноким и заброшенным. У молодости особая мера времени. Даже стрелки часов для нее медленнее движутся. Так по крайней мере казалось Таурасу, напрасно поджидавшему, чтобы хоть кто-нибудь посторонний забрел в лагерь и скрасил томительное ожидание.

Сначала Таурас рассчитывал на молодую учительницу из соседней усадьбы. Она любила побродить по розовеющим от заходящего солнца полям, присесть на валуне и тихим, трепетным голосом читать вслух стихи. Когда-то Таурас затаив дыхание слушал ее декламацию.

Но солнце садилось, а учительница не появлялась.

Как подстреленная птица, опускался Таурас с высот на землю. Он уже соглашался: пусть в лагерь придет хотя бы обыкновенный парень, даже подросток — любая живая душа, собеседник...

В конце концов у раскидистой кукурузы замаячила чья-то голова. Таурас удовлетворенно потер руки. Окликнет путника, они усядутся рядом и так скоротают часок-другой.

К вагончику подходил мужчина. Он опирался на выломанный сук, в руке нес узелок. Идет неторопливо, ровно, спокойно. Развешаются полы расстегнутой сермяги, шапка сдвинута на затылок, от пота лоснится лоб. На плечах связанные веревкой штиблеты. Видно, издалека. Таурас взбежал по ступенькам и исчез в дверях фургона. Может, он забыл курево и захочет побаловаться.

Когда Таурас снова появился в дверях, незнакомец стоял в ложбине у березки задрав голову. С середины лета дерево начало ронять желтые листья. Прохожий несколько раз стукнул по стволу. Таурас смекнул — верно, увидел в ветвях гнездо.

Тук-тук-тук... — отдавались в тиши удары палки. Потом, упершись посохом, путник скинул картуз, вытер лоб. Он был острижен под нулевку, голова — как выпуклый камень. Над выпученными глазами торчали бугры, заросшие седыми бровями. Лицо продолговатое, кожа сухая, темно-багровая, губы очень тонкие.

— Где же я его встречал? — удивился Таурас.

Неизвестный поглядел на него, неторопливо нахлобучил картуз и снова взялся за посох.

Смех разобрал Таураса. Парень кое-как сдерживался, не доверяя собственным глазам.

Неужели это тот самый козий король?

— Здорово, дяденька, — весело приветствовал прохожего Таурас. — Присядь передохни.

— Чтоб тебя средь бела дня первым громом зашибло, — заревел путник. — Чтоб ты лопнул! Чтоб ты сгорел! — И, рассыпая ругательства, он ускорил шаг.

Таурас громко хохотал.

— Сметану слизал — пришлось и сыворотку выпить, дяденька...

Старик шлепал босыми ногами, согнув спину, не оборачиваясь и все еще что-то громко бормоча. Только отойдя на немалое расстояние, он ненадолго обернулся и погрозил палкой. Кому — небесной шири или Таурасу, который не переставал потешаться?

Старый сквернослов спустился в ложбину и свернул по лугам. Из заросшего ракитой рва взлетел селезень. В вечерних лучах заиграла его яркая грудка. Птица поднималась чуть не отвесно, а потом рванулась вдаль по верхушкам осинника. С крыльев селезня сыпались красные солнечные искры.

Таурас опять уселся на лесенке, разглядывая отдалявшегося человека. Тот шел по краю ржаного жнивья и на голом поле выглядел черной корягой.

Занятно — чему научился за эти несколько месяцев козий король?

Когда началось его знакомство с этим «королем»? Пожалуй, год назад. Их отряд впервые добрался со своими тяжелыми машинами до пустыря, прозванного «Адским болотом». Мрачная, зеленовато-рыжая, ничья земля, окаймленная искривленными сосенками, густыми кустиками ежевики, клюквы и росянки, расстилалась перед ними, обдавая холодом и затхлой плесенью. По вечерам там стонали бекасы, будто заблудившиеся ребята. А по утрам плавал белесый туман, и в нем отдавался несмелый голос стосковавшегося по любви терева.

Таурас говаривал, что ему по душе жемайтйские чертовы трясины, там иногда наткнешься на такое диво — небо с овчинку покажется.

И в тот раз его словно тянуло к «Адскому болоту».

Вскоре Таурас услышал разные рассказы про Иполитаса Гумбарагиса, по прозвищу «козий король». По словам стариков и пастухов, это — сущий сатана, не выпускает из рук отточенного топора и больше всего ищет, с кем бы сцепиться, кому лоб раскроить.

Таурас оживился. Разве можно дремать на матрасе в дорожном вагончике, если какой-то козий король жаждет раскалывать лбы и затылки?

Парня особенно обрадовало, что магистральный канал прочерчен почти через усадьбу Гумбарагиса.

— Этого бродягу черт нес и обронил,— сказал как-то местный агроном, не выпуская из рта старой трубки.— Мы уж с ним и по-хорошему и по-плохому, про-сили и ругались, чтоб Иполитас одумался. А он всем топор показывает: бывает — прикинется дураком, бывает — жарит все законы наизусть. А вообще лодырь и, наверно, тайный самогонщик. Держит десять — пятнадцать коз. Оборотень, не человек. Не подходите к его избе — топора отведаете.

Таурас все намотал на ус. А Костас Микутис громко усмехнулся:

— И не таких обормотов выкорчевывали! Еще робеть перед выжившим из ума стариком... Таурас, бо-ишься?

— Не дай бог, как боюсь...

И молодой экскаваторщик подмигнул мастеру.

После завтрака мелиораторы выехали на участок. Таурас повернул к гумбарагисовой усадьбе, если так можно было назвать эту лачугу, вросшую в землю. Издали Таурас увидел закопченную хижину с покосившимися стенами и с крышей, съехавшей набок. Вместо трубы — жестянка. Кругом ни дерева, ни куста, ни забора. Окошко чернело в нескольких дюймах от земли. А кругом, по ископанным кротами кочкарникам, рас-хаживали белые и черные козы.

Таурас подивился — целое стадо. Взрослых и ма-лых он насчитал четырнадцать, но вот еще две выско-чили из канавы. Козы щипали чахлую, высохшую траву и бодались, не поделив своего жалкого корма.

«Картинка! — рассуждал Таурас. — Тут — первоклас-сная техника, а там — тараканий питомник с трубой-же-стянкой, чумазые, одичалые козы, — словом, нищета и убожество».

А из второго окошка экскаватора виднелись за же-лезнодорожным полотном опрятные усадьбы с цветни-ками, крепкие хозяйственные постройки, кудрявые фрук-товые деревья.

Солнце, с утра не обещавшее погоды, одумалось и принялось раздирать серую вату туч. На покрытых ро-

сою полях запел жаворонок. Невдалеке задумчиво бродил красноногий аист, грустно поглядывая на прокапываемый мелиораторами ров.

Козы понемногу привыкли к невиданной машине. Старый козел подобрался совсем близко. Таурас заметил у него между рогами деревянную дощечку. Вгляделся — да и козы с таким же «тавром», все с дощечками. А сверху что-то написано.

«Прочесть бы эти козлиные иероглифы...» — не терпелось Таурасу. Эта убогая скотина с деревянными надписями привлекала его, как ученого — допотопные чудища.

Он попытался подманить одну из коз, но та, чертовка, словно понимая, что носит тайну на лбу, улепетнула, задрав хвост.

Застучал мотоцикл — это приехал Микутис.

Козы пугливо вскинули головы. Ветер трепал их пожелтевшие бородавки.

Микутис остановился посмотреть, выражаясь техническим языком, насколько экскаватор Таураса монтируется к грунту.

Гражулис ознакомил мастера со своим открытием и предложил: «Загоним все козье стадо на край поля. С одного бока — трясина, с другого — станем мы. Им тогда не вырваться».

Любопытство — один из величайших соблазнов. Сказано — сделано. Криворогие оказались в западне.

Микутис и Таурас с вытянутыми руками подвигались все ближе к метавшемуся стаду.

— Их плацдарм сокращается... — бормотал Микутис. — Цыбу, цыбу...

Старый козел, раскусив коварный замысел врагов, заблеял и проскользнул мимо агрессоров. Следом за ним обалдело замелькало все стадо.

Микутис, как футбольный вратарь, рухнул на землю, ухватив за ноги старую козу. Таурас изловил чубарого козленка. Остальные галопом мчались к лачуге Гумбарагиса.

Мелиораторы взглянули на дощечку. Сквозь выжженные ушки была продета самодельная бечевка, а

на дощечке не слишком грамотные пальцы вывели химическим карандашом:

«БЕРЕГИТЕСЬ ПРИВИДЕНИЙ»

И всё!

Таурас и Микутис ломали себе головы. Что за привидения? Не волки ли?

— Эй, эй!.. — загремел крик со стороны Гумбарагисовой лачуги. По пустырю шагал человек, размахивая топором и не переставая рычать как разъяренный бык.

Микутис шлепнул козу по ляжке и погнал ее к хозяйну. Брыкаясь, понесся туда же и козленок.

Несмотря на освобождение пленных, козий король надвигался гневно и грозно. Длинные, нечесанные, всклокоченные волосы стояли дыбом, как патлы ведьмы. Он все издавал свой странный боевой клич.

— Не рехнулся ли? — зашептал мастер, чувствуя себя не в своей тарелке. — Еще зарежет как цыплят... Берись за работу. Может, ни к чему было коз гонять..

Оседлав мотоцикл, Микутис выжидал.

Козий король уже не продвигался дальше, а стоял и орал среди поля, да несколько раз покрутил топором над головой. На лезвие сверкнуло солнце.

Удостоверившись в мирном исходе, мастер умчался своей дорогой.

Таурас некоторое время углублял и расширял канаву. Понемногу он приближался к лачуге. А косматый старик словно издевался над молодым экскаваторщиком. Порой он появлялся во дворе и, хватаясь за топор, выпускал непонятные гортанные вопли, запугивая Таураса: мол, сюда ни шагу, а то простишься с жизнью...

— Из какой ты вылез чертовой берлоги? — обозлился и Таурас. — Надоел мне этот цирк!

И, бросив канаву, Таурас направил свою тяжелую машину, словно танк, прямо во двор к Гумбарагису. Конечно, предварительно убедился, что Микутис не смотрит. А то еще попадет на орехи за такую поездочку!

Таурас и Гумбарагис очутились лицом к лицу. Криворогое стадо, выставив бороды, ожидало исхода поединка.

И король перестал вопить. Он уже не размахивал топором, а пятился назад. Не довольствуясь половинчатой победой, Таурас с грохотом подкатил к самой избенке. Казалось — еще один грузный шаг, и лачуга будет сметена.

Гусеницы машины заслонили окошко хибарки. Длинная стрела, с визгом нависая над крышей, металась влево и вправо. Гумбарагис шмыгнул в избу.

У Таураса руки чесались. Он осторожно опустил свой железный половик прямо на жестяную трубу. Закрыл устье дымохода. Дым перестал подниматься вверх. Таурас словно видел, как старикан в хибарке корчится, чихает, кашляет, как слезятся его злобные глаза...

Скрипнула дверь. Высунулись седые космы, робкое лицо, и Гумбарагис заговорил совсем по-человечески:

— Не топчи двора, сударик... Не пугай ты меня, бедного... Ступай сюда — поднесу черепушечку и еще на дорогу дам.

С хохотом и свистом Таурас вернулся ко рву.

С того дня Гумбарагис перестал совать нос куда не надо. Только через плечо, съевшись, озирался на экскаваторщика.

На болоте воцарились мир и спокойствие.

Раз субботним вечером Таурас выфрантился на танцы. Повязал галстук, надел серую шляпу. Перед уходом пошутил, что, наверно, опять ему придется туго.

— Не хочется прослыть глухим, — пояснил он. — Спросишь о чем — жемайтійская девица сыпанет словами как горохом, а ты ничего не поймешь. Переспросишь — опять двадцать пять. А в третий раз спрашивать конфузно. Вот и приходится разговаривать больше глазами и локтями.

В тот вечер Таурас вернулся рано. И в каком виде! Шляпа измята, на щегольском пиджачке липкий след от мухоморов, а под глазом — синяк с ладонь. И нос — красный, раскисший. В руке у Таураса — блестящая проволочка.

Таурас никому не рассказал, кто его разукрасил. Только что-то пошептал Микутису. Потом оба, переодевшись в рабочие куртки, исчезли.

Больше недели Таурас под вечер уходил неведомо куда. И куда ему было деваться с этой синей закорючкой под глазом? Неужели идти на танцы смешить девушек?

После ночных экскурсий невыспавшийся, раздраженный Таурас сердито залезал на экскаватор. Работал, изредка доставал круглое карманное зеркальце. Огромный синяк понемногу исчезал.

Однажды утром Таурас вернулся, весь сияя. И не один — с Минкутисом и Гумбарагисом. Старик пыхтел, вытирал пот с лица и понутив голову тащил тележку для хвороста. Еле ноги волок, но был покорен.

В тележке лежала молодая косуля, Мертвая. На тонкой шоколадной шее плотно затянутая стальная петля. Свободный конец петли болтался, вычерчивая на пыльной дорожке длинный след, будто змея ползла.

Мордочка косули была раскрыта, на ней сверкала запекшаяся струйка крови.

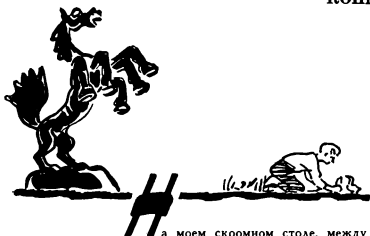
Таурас охотно рассказывал каждому встречному:

— Он и на меня, как на зайца, силки расставил, чтобы я хоть штаны извалял. Правда, тогда у меня от пня шишка выскочила. Но мы перед такими лешими в долгу не остаемся. Остерегаемся приведений... Полюбуйтесь, люди, на козьего короля. Чего, дяденька, в землю уставился? Уж не ищешь ли там потерянной совести?

Таурас сидел на ступеньках. Ночь рассыпала звезды в голубом небе. Горестно застонал на болоте бекас.

Сквозь дремотные кусты божьего деревца из деревни доносилась веселая речь скрипки и гармошки. Таурас прислушивался, мягко отбивая такт каблуком. Эх, до чего стосковались ноги по «пасютпольке» — бешеной польке!..

СЕМИНОГИЙ КОНЬ



а моем скромном столе, между деревянным письменным прибором и глиняной вазочкой с карандашами и ручками стоит небольшая статуэтка. Взгляну на неё — и сердце сжимается. Я — учитель, мне пятьдесят лет, многое я видел и испытал на своем веку. Но эта скульптура повергает в ужас, берedit незаживающую рану.

Что же это за статуэтка?

Сразу и не сообразишь. Как будто взбешенный вороной конь. Присел на задние ноги, хвост раскинут широко веером, бедра рябит дрожь. Взыбленный скакун готовится растоптать все, что встретится на пути. В приподнятых копытах таится слепая, грубая сила, которая вот-вот раздробит тебе голову. Но не две, а пять передних ног у коня-призрака. Над широкой грудью змеей взметнулась тонкая шея; на ней маленькая головка с единственным выпученным глазом.

Из какой это страшной сказки? Увы, это не сказка, а печальная правдивая история.

У всех историй есть свое начало. Так и тут... В первый послевоенный год меня направили открывать новую школу. Все для меня здесь было непривычным: заросший сорняками двор, заброшенный дом мелкопомест-

ного дворянина, облупившиеся колонны, над ними — высеченная на гранитной плите надпись: «Vivat regina Barbaга» — «Да здравствует королева Варвара». Прогнившие, заплесневелые полы, разбитые окна. Вокруг усадеб болотистые леса, заросшие кустарником холмы, узкие пахотные полоски.

Председатель сельсовета Каригайла, солидный человек средних лет, бывший деревенский колесник, встретил меня радушно: подумать только, здесь, у черта на куличках, будет школа!

Каригайла быстро собрал людей на ремонт школьного здания. Сам тоже не сидел сложа руки — сбросил с себя пиджак и укладывал новые половицы. Окончив, нашел кусок жести, обрезал ножницами, прибил к деревянной раме, покрасил синей краской и протянул мне, тихо улыбаясь:

— Слаб я в грамоте, так, может, вы, товарищ учитель...

На синем куске жести я написал: «Саманельская народная школа». Вывеску мы водрузили там, где на граните высечено: «Vivat regina Barbaга».

Каригайла был мастером на все руки. Увидев, что печи развалены, а умелого печника нет, подвязал передник и стал месить глину. Помог он и сколачивать скамейки.

На дворе появились первые ласточки. Дети несмело толпились у дверей.

— Рвите сорняки! — крикнул им Каригайла. — Мы то палкой на песке грамоте учились, а вам, воробушки, с самого утра теплое гнездо готовим. Так, чтобы крапива вас за голяшки не кусала, принимайтесь за работу.

В первом классе собралось девятнадцать учеников, девятнадцать веселых воробушков.

Мы с Каригайлой очень гордились Саманельским дворцом науки. Неважно, что скамьи из простых, неотесанных досок. Лиха беда — начало. А потом мы горы сдвинем.

Каригайла подкатил к вязу две колоды, положил на них выструганную доску. На этой скамеечке мы частенько потом сиживали и подолгу говорили. Лицо и

глаза Каригайлы светились живым умом: он любил рассказывать. Отец его когда-то за сорок копеек купил «Священную историю». Эта книга и послужила Каригайле первой азбукой, по ней он научился читать. Председатель любил посмеиваться:

— Одна беда, что из убогих!.. Родись мы не в грязи, а в княжеской семье, были бы теперь министрами да королями.

Спустя некоторое время я получил первое служебное письмо. Волнуясь, распечатал конверт. Не стану скрывать, надеялся найти там благодарность за то, что мы с Каригайлой так быстро управились и открыли двери школы. Но заведующий отделом народного образования, подпись которого была украшена тремя замысловатыми закорючками, коротко и строго запрашивал: срочно сообщите, сколько детей в сельсовете еще не посещают школу. Это короткое письмо показалось мне колким упреком: плохо, мол, ты работаешь, если безграмотные дети шатаются вдоль заборов и бьют баклуши.

Проглотив горькую слюну, обратился к Каригайле. Тот почесал обрубком большого пальца седеющий висок и, как всегда, когда разговор шел о серьезном деле, твердо сказал:

— Ног не жалко. Обойду, у людей разузнаю!

А я, в свою очередь, расспросил детей. Назвали они мне какого-то Джюгаса, который живет за речкой и не ходит в школу. Кто его родители — никто толком не объяснил. Одни утверждали, что отец и мать Джюгаса живы, другие — что у Джюгаса только мать. Как бы там ни было, а одного дезертира, кажется, я обнаружил!

Спустя день-другой о Джюгасе заговорил и Каригайла.

— Темнота беспросветная! — сказал он сердито. — Три часа с ними ругался, а они — свое: сами, дескать, сумеем парня выучить... Видал я, какая ихняя наука. Глину месит!.. Не человеком, а куском глины стал малец... Может, вы зайдете? Может, они вашего ученого слова послушают?

Приближаясь к одинокой усадьбе, скрытой за белыми ольхами на берегу речки Лидекупис, я уже почти все знал о родителях Джюгаса.

Когда пришли немцы, отца-новосела (так называли наделенных помещичьей землей) пристрелил хозяин поместья. Некоторое время вдова батрачила, пока не нашла сыну отчима. Находка была не ахти какой. Женщина — трудолюбивая, проворная и статная, еще не старая — привела к себе известного по всей округе бездельника, браконьера и скандалиста, по прозвищу «Живодер». При всех властях он часто сидел в тюрьме и возвращался из далекого большого города босой и оборванный. Обросший космами, как Тарзан, он спал под заборами. Вдова его обмыла, привела в человеческий вид, подарила ему пиджак покойного мужа, но работать не научила. Живодер с силками слонялся по рощам, зимой ловил неулетевших уток, иногда сдирал шкуры с дохлых животных, в престольные праздники продавал глиняные свистульки, а больше всего принимчивался — где и кто гонит самогон.

По дороге я гадал: как выглядит мальчик, которого эти темные люди не хотят посылать в школу.

Вокруг старенькой лачуги торчали колья сгнившего забора, сквозь дыры в хлеву свистел ветер. Кучка рыжих кур копалась у порога, а рядом переваливались две утки. Тощая собака подняла морду, грустно взглянула на меня, тявкнула и опять уткнулась в траву.

У женщины были большие, красивые, но усталые глаза. Она накладывала в ведро горячие угли. Живодер, вытянув на середину избы длинные ноги в коротких, почти до колен штанах, сидел на скамье. Он грыз репу и пальцем ковырял в ухе с безучастным видом, какой бывает у только что вставших с постели лодырей.

Мальчик с коротко остриженными волосами, на вид лет десяти, круглолицый, с серо-голубыми глазами, стоял возле ржавой миски и мял пальцами глину. Взглянул на меня смело, но не дружелюбно и снова взялся за глину.

— Нешто мы разбойники?.. — вздохнув, сказала мать. — Разве не знаем, что надобно нашему ребенку?.. Мы его не обижаем!

Живодер, пока я разговаривал с матерью, громко чавкая, уписывал репу. Окончив трапезу, он тыльной стороной ладони вытер губы, огрызок швырнул под

скамью. Встал. Какой высокий! — головой чуть не до потолка!

— Марш на двор... — приказал мальчику отчим.

Джюгас отщипнул кусок глины и послушно вышел. На пороге украдкой бросил на меня злорадный взгляд: баты и мама, мол, защитят от тебя, чужак!

— Дитё наше, и никому его не отдам, — недружелюбно буркнул Живодер и исподлобья гневно взглянул на жену. Да, тут во всем была его воля. Женщина пугливо схватила шитье и низко склонила над ним голову. А костлявый великан с давно не бритой бородой вызывающе стоял передо мной и, сжимая свои большие лапы, скрипучим голосом бубнил:

— Меня не испугаешь. Я из твердого кремня. В господу не лезем, пшеничных пирогов не ищем. Хватит с нас того, что есть.

Хотя меня и не пригласили садиться, я сам опустил-ся на скамью и продолжал разговор. Только слова мои отскакивали словно горох от стены.

— Я и сам ребенка подучу, — упрямо твердил он. — Сколько знаю — с него и хватит.

Я осмотрелся:

— У вас дома не видно и порванной книжки, даже клочка газеты на стене. Чему же вы его научите?

— Чего не знаем — у вас спросим, — издевался Живодер.

Пробовал я по-всякому уговаривать упряма. Однако никакие доводы на него не действовали.

За окном на дворе был слышен веселый свист. Это меня еще больше бесило. Мальчик по годам уже должен был учиться в третьем классе. Неужели он так и просвистит свою юность?

Потеряв терпение, я крикнул Живодеру:

— Не будет по-вашему! Закон защитит ребенка. Не советую сопротивляться. Это к хорошему не приведет.

— Для меня тюрьма родной дом, — гримасничал Живодер.

— Я не пугаю вас тюрьмой. А мальчика... Мальчика из темной ямы вырвем. И очень скоро!

Мать тихо заплакала, и я почувствовал себя неловко. А Живодер, косясь выпученными глазами, неистовствовал:

— Я ни бога, ни черта не боюсь! Можете убираться туда, откуда пришли!

— Не кричите и не пугайте жену,— спокойно сказал я, вставая.— Она и так уж натерпелась...

Вдруг Живодер остыл. Швея посмотрела на меня влажными глазами. В них, кажется, мелькнула благодарность. Но она тут же боязливо опустила голову, сгорбила худые плечи.

Видно, не с отчима, не с этой колоды надо было начинать. Нет, только материнское сердце может стать моим союзником!

Так был найден нужный ключ.

Дальше я говорил только с матерью, не обращая внимания на Живодера, будто его здесь и не было. Даже несколько раз вежливо сказал:

— Не вмешивайтесь. Вы здесь посторонний! Я говорю не с вами, а с матерью.

И как это подействовало! Удивляюсь, как он не схватил меня за шиворот и не выбросил за дверь. Живодер сопел, садился и снова вставал, постукивал кулаком по столу, ругался. Но я к нему не оборачивался. Я его игнорировал.

Высокомерие Живодера как рукой сняло! Он забился в угол и смотрел оттуда волчьими глазами.

«Если у этого браконьера есть ружье,— подумал я,— он еще из-за куста пальнет!»

Очевидно, я угадал его намерения. Взглянул на него и засмеялся: до чего же ты жалок и слаб! Берегись! Вот даже женщина, жестоко обиженная жизнью, почувствовала, какой ты подлый и чужой для нее.

— Может, и правда, что Джюгас отстал... Может, и пойдет учиться... школа так близко...— говорила мать, не глядя на мужа. Голос ее прерывался. Она очень волновалась.

На дворе я увидел своего будущего ученика. Джюгас сидел на заваulinke и что-то мастерил. Он не слышал моих шагов. Его худые пальцы двигались ловко и проворно.

Я подошел ближе. Во рту у мальчика торчала глиняная свистулька — красивый красноперый петушок, а пальцы играли с мягкой глиной.

В этих красивых и ловких движениях таилось колдовство. Он лепил. Лепил, поглядывая на неуклюже топтавшегося тут же селезня.

Клюв, жирный зоб, широкая лапка с ноготками, помятые перья хвоста... Это было прекрасное произведение с натуры. И как все удавалось ему, легко, почти молниеносно. Холодная, мертвая глина превратилась в птицу — положи ее на ладонь, подними, крикни «лети!», и, наверное, она взмахнула бы крыльями... Не удивительно ли?

Я подошел ближе, мальчуган увидел меня. Он испугался, быстро смял своего селезня в бесформенный комок, убежал и спрятался за каменным хлебом.

Все это я видел будто во сне. Мне было горько, что уточка, так славно вылепленная, вдруг превратилась в ком коричневой глины. Я стоял ошеломленный. Ни родители, ни сам Джюгас ведь не подозревают, какой талант обитает в этой покосившейся лачуге!..

Через несколько дней мать привела мальчика в школу. Я заметил у женщины синяк под глазом. Но она казалась гордой и почти веселой. Джюгас стеснялся, и от него трудно было вырвать хоть слово. Однако в классе мальчик с любопытством оглядывался, наморщив лоб, рассматривал картины на стенах.

— Джюгас будет большим мастером! — сказал я матери, глядя на ее подбитый глаз. — Научится грамоте и поедет в художественную школу. У сына вырастут большие крылья, он высоко взлетит.

— А средства? Мы бедные... — возразила мать.

— Теперь другие времена. Не надо родиться в золотой люльке. Нужно только иметь золотые руки.

Джюгас скоро освоился в нашей школе. Среди первоклассников он был выше всех, и ребята прозвали его «отцом». Я не ошибся, когда пророчил ему будущее великого мастера. Удивительная память была у Джюгаса — один раз прочитав страницу, он мог спустя несколько дней повторить все точно, строчка в строчку. Но пальцы его, пальцы врожденного скульптора, были

еще удивительнее. Он лепил белок и головы товарищей, иногда очень смешные, в особенности тех, которые наделяли его тумакami. Мстил он своеобразно. Своими произведениями высмеивал тех, кого не любил.

Каригайла очень интересовался Джюгасом. Нередко разговаривал с пареньком. Частенько навещал лачугу на берегу Лидекупис. Зоркий глаз председателя следил, чтоб Живодер не растоптал молодой талант. А этот дармоед где-то шляется. За убитых серн он некоторое время копал торф. Потом его видели в обществе придурковатой знахарки, которая лечила наивных старушек «чудотворными травами». Но и у нее он пробыл недолго. Люди поговаривали, что он, видать, по старой привычке, поднял свой тяжелый кулак, а та каким-то едким варевом обожгла ему щеку. И опять он ходил одинокий, словно привидение, с обезображенным лицом.

Наступил последний день школьного года. Джюгас окончил первым и так и светился радостью. Окружающий мир казался ему полным открытий, мечтаний и надежд. Не надо терять времени! Я даже подумал, что за лето Джюгас многое перечитает и осенью перескочит через класс. Ведь это для него совсем не трудно!

И вот все собираемся в классе. Мне на стол ставят букеты. Каригайла расхаживает в праздничном пиджаке, к которому приколоты партизанская медаль. Он сияет словно весеннее солнышко и таинственно озирается. А Джюгаса нет.

Но вот заходит мой лучший ученик. Он что-то несет в бумаге. Кладет мне на стол. Семиногий конь! Тот самый, который передо мною и сегодня.

Я осмотрел скульптуру и ничего не понял. Страшный взгляд, змеинная шея, пять разящих копыт, тупая звериная сила.

— Что же ты, Джюгас, вылепил? Как назвать это животное?

— Фашист!.. — ответил мальчик.

Голубые глаза Джюгаса сверкали. Засмеялся и Каригайла, довольный, что удалось удивить старого учителя.

Принес я к себе подарок и долго рассматривал коня-чудовище, а оно своим дьявольским глазом смотрело на меня.

Как лаконично, сильно, художественно выражено кровавое поветрие, принесшее миллионам страдания, скорбь и смерть.

Может, такой же фашист, охваченный кровавой жадностью, уложил в могилу отца Джюгаса?.. А сотни и тысячи невинных людей, не вернувшихся в свое семейное гнездо?

Таков наш век. Век больших и решающих схваток. Этого не скрыть даже от наших детей. Они также участники и свидетели...

Так философствовал я, скромный деревенский учитель, глядя на произведение Джюгаса.

В середине лета я уехал в санаторий в Друскининкай лечить ревматизм. Покинул резвого веселого Джюгаса. Оставил ему стопку книг.

— Когда надоест играть — читай. А что ты мне вылепишь?

Голубые глаза мальчика были серьезны. В них отражалось синее небо. Джюгас следил за полетом ласточек. Птицы поднялись высоко, блестя крылышками.

— Есть ли, учитель, птица, которая достигнет самой высочайшей синевы?

— Есть.

— Как она называется?

— Человек, — и я пальцем указал на него самого.

— Я?.. — по-детски удивился Джюгас.

— Да, ты.

Он проводил меня до большака. Идти с Джюгасом было хорошо, весело. Мне, старому холостяку, казалось, что у меня — славный сын!

Вернувшись после отпуска, я сразу же спросил Каригаилу:

— А наш Джюгас? Каких необыкновенных птиц и зверей он тут вылепил?

Печаль лежала на лице друга. Он опустил голову. Молчал. Долго, долго молчал.

...Это случилось в середине лета, когда земля очень зеленая и пахучая, небо синее и высокое, птицы поют самые красивые песни, а сердца людей полны тихой радости. Джюгас собирался удить и ловил кузнечиков. У подножия холма в калужнице он нашел авторучку. Это

была удивительная находка! Синяя, с металлической блестящей головкой. Авторучка — мечта всех деревенских учеников. С какой завистью Джюгас поглядывал на мою старенькую «литуанику», купленную еще до войны...

Удивительно ли, что мальчик весело поднял находку? А как же ее не повертеть в руках!

Джюгас отвинтил блестящую головку ручки. Горькими от любопытства глазами хотел увидеть чудесное перо.

И увидел... Между пальцами блеснул огонь. Опаляющая струя ударила в глаза. Гитлеровская мина-сюрприз терпеливо ожидала своей жертвы. Мой бедняжка Джюгас набрел на след фашиста. И на зеленый ковер из слепых, выжженных впадин покатились кровавые слезы... Ни птиц, ни рек, ни облаков эти глаза больше не увидят.

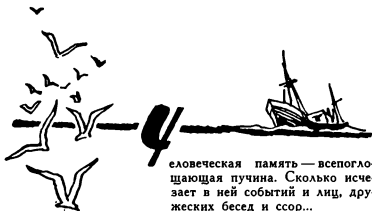
Погиб великий скульптор. Остался маленький, бедный слепой мальчик. Остался обездоленный человек.

...В комнате тишина. Сумерки. Я смотрю на семинового исступленного зверя. Не замечаю, как моя рука сама поднимается, тянется к скульптуре Джюгаса. Я даю пальцами длинную змеиную шею чудовища.

Ты никогда не возродишься. Нет!.. Если бы ты был жив — я бы сам тебя уничтожил.

Не скрываю своей ненависти. Она свята и справедлива.

БЕСПОКОЙНОЕ МОРЕ



еловеческая память — всепоглощающая пучина. Сколько исчезает в ней событий и лиц, дружеских бесед и ссор...

Но и эта безмолвная пучина иногда говорит, когда ее взволнует какая-нибудь встреча, пожелтевшее письмо, порыв ветра.

Рыбаку Робертасу Дьевинису не давал покоя его неуемный нрав, за который пятидесятилетнего рыбака прозвали старым бесом. Никому не удавалось так «отдывать» рыбацьи суда, как Робертасу. Иной раз, по словам его однолетков — боронильщиков моря, он прямо-таки играл и своей и чужой жизнью. Такой уж был Робертас Дьевинис — закаленный морем рыбак.

Разговориться с Робертасом по душам было трудно. О прошлом он не заикался. А о настоящем, бывало, буркнет:

— Чего тебе сказать? Нынче рыба не идет, море неспокойное, сердитое.

— Почему?

— Полнехонькие тралы выгребали самок — в них весу больше. Зато председатель премию огреб. Море и мстит.

Вот и весь разговор.

Правда, другие рассказывали, как Дьевинис дважды тонул. В первый раз, когда рыбаков мотал шквал на море. После шквала они упали на палубе и уснули. Лодка ночью тихо дрейфовала без огней — волны сорвали фонари с мачты. Не было в те времена ракет, не соблюдали строго вахту. Мимо шел из Риги шведский «купец» с транспортом лошадей. А что такое одинокая лодчонка в ночном море? Скорлупка... Стукнул ее носом торговый корабль и пошел своей дорогой. И только один Дьевинис успел ухватиться за оторвавшуюся дубовую доску, влез на нее да так и плавал без малейшей надежды, взывая к бескрайней тьме, печальным звездам, жадной пучине.

Видно, сильно звучало в его голосе желание жить. Услышали Дьевиниса на случайно подвернувшейся лодке латышских рыбаков. Отыскали они доску с человеком. И потом еще рыскали взад и вперед, но обнаружили только три спасательных пояса. Какой же рыбак наденет пробковый жилет, укладываясь спать хотя бы и на мокрой палубе?

А в другой раз хлебнул Дьевинис морской соли, когда катер перевернуло по дороге к пристани. Тогда Дьевинис ухватился за цепь и обмотал ее вокруг себя. Волны швыряли лодку то к берегу, то к морю, терли цепь о киль. Рыбак, захлестываемый водяными горами, плавал — хоть не в лодке, так за лодкой.

С нечеловеческими усилиями Дьевинис добрался-таки до берега, стремясь ощутить под ногами твердую почву, надышаться ее запахом и снова вернуться в море... А как доберется он в следующий раз?

В последнее время Дьевинис плавал звеньевым, распорядился артельным катером и двумя подручными. И прославился тем, что ни одна лодка не переживет его. Море было скупым, но к середине лета Дьевинис наловил столько, сколько ему полагалось за весь год.

И вот пронеслась недобрая весть: Дьевинис опять утробил лодку. Ее сначала ободрали весенние льды. А теперь доконала мель у ворот гавани. Волны шумно накидывались на эту отмель, с которой не могла справиться землечерпалка. Суда стонали, в днищах появлялись

щели, насосы изнемогали от напряжения. А парень из портовой службы надзора многозначительно ухмылялся. Подобные записи в его книгах звучали смертным приговором отслужившим свой век катерам. Не увидят они больше синего моря! Судовой реестр не выпустит их за ворота гавани.

Особенно неистовствовал Дьевинис:

— Опять закавычка? А куда дуб девался? Бабье корыто крепче соснового катера! Бывало, в Ниде мастер сделает суденышко — так на двадцать лет. А теперь... Бумажки, акты, контролеры... Рыбе скормить весь этот реестр с его придирками!

Так в артели возник большой и путаный спор. И спор этот окончился очень неожиданно — открылась страничка прошлого Дьевиниса, о которой он молчал.

Председатель артели Жиба не на шутку сцепился с рыбаками.

— Где новые катера? — шумели задние ряды на общем собрании. — Только за подсобное хозяйство болеешь! Настроил парников, коровников, всяких душей для свинок, сам машину завел... Миллионы сквозь пальцы ушли, а лодки — дыра на дыре!

Чтобы рыбаки вконец не заклевали его своими попреками, председатель заказал на Неманской судовой несколько катеров. Но кого назначить на эти лодки, кого за ними послать?

Катера делали долго, а ропот среди рыбаков все нарастал. Море, рыба, море, рыба... Упорствовал и председатель: а почему бы тем рыбакам, что посвободнее, особенно старикам, не прополоть артельные огороды, почему не поработать на стройке складских помещений? На берегу работы хоть отбавляй, а они — всё про улов да про сети.

И председателю казалось: самый первый строптивец — Дьевинис. Жиба злился. Эх, посадить бы на мель этих горлопанов, чтобы знали — и на них есть управа!

Но людей, которые днюют и ночуют под открытым небом, не запугаешь дождичком. Как ни крутил Жиба, а на один из новых катеров пришлось назначить Роберта Дьевиниса.

С болью в сердце выписывал председатель командировки на верфь не тем, кому хотелось бы.

Жиба сидел в конторе, как всегда при галстукке, в рубашке с накрахмаленным воротничком и в велюровой шляпе с ворсом, которую и снимал-то, верно, только когда спать ложился.

Он критически оглядел сгрудившихся вокруг стола рыбаков в мятых брезентовых куртках, с масляными пятнами на рукавах.

Жиба любил пофилософствовать и славился ловко подвешенным языком, с которого так и сыпались всякие посулы, — ведь это ему ни копейки не стоило:

— Побрейтесь, почиститесь. Тут у нас — глушь, деревня, ветер, море. На полсотни лет отстали. Культуры не хватает. А едете в большой город. Но не горюйте. Я с вами поеду на верфь. Помогу, где потребуется. Вы только оденьтесь поаккуратнее. А где разговаривать — это уж мне... Выручу вас! Ведь такая поездочка! Прямо праздник.

Праздник праздником, а дело делом. Рыбаки не нищие — выфрантились по-воскресному. Но забрали с собой и рабочую одежду, кожушки. Ведь на катерах возвращаться по Неману, потом — по заливу до Клайпеды, а оттуда уже морем до родной гавани. Вода и ветер не любят белых воротничков.

Погрузили на машины горючее для катеров, уложили запасные якоря, канаты, бортовые фонари. Уселись рыбаки и председатель.

Автомашина летела по обсаженному березами шоссе. Дьевинис, посасывая крепчайшую сигарету, смотрел на непривычный мир. Он не бывал на берегах Немана, знал только приморские пески и сырые леса, мачты в гавани. И теперь с любопытством оглядывал зеленые холмы, белые школьные здания, железобетонные мосты, широкие поля, большие стада, комбайны, проплывавшие по золотым озерам ржи. И когда останавливались перекусить где-нибудь в рощице, то Дьевинис прислушивался к никогда не смолкавшему птичьему гомону. Шевелились крепкие скулы старика, улыбались губы — может, он втихомолку подтягивал веселому щебетанью.

Рыбаки подъехали к судостроительным мастерским,

расположенным на самом берегу. Громко визжала пила. Словно сговорившись, рыбаки вскочили в машине и на ходу принялись осматривать стапели, суда. Они убедились, что киль новых катеров, как и требовалось по договору,— из дуба, а сосна пошла только для палубы и будки машиниста.

Жиба, охваченный начальническим рвением, не умолкал ни на минуту:

— Не расходитесь, не разбегайтесь. Я — к директору. Будьте спокойны... Я тут... Я с вами...

И хотя они нисколько не беспокоились и даже чуть посмеивались над его суетней, Жиба наставлял не хуже няньки в детском садике. Потом, схватив портфель, побежал в контору.

— Горяч наш старшой,— пренебрежительно обронил Дзевинис,— а посмотрел бы ты на его лужок...

В глазах старого рыбака запрыгали чертики.

Двухэтажный дом, где жил председатель, окружал немалый участок. Теперь там заборы поломаны, кусты сероватые сорняки, а подчас, восторженно хрюкая, забегают и поросята.

...Вскоре вновь появился Жиба — взволнованный, растерянный. Только во дворе он надел свою ворсистую шляпу.

— Чуть-чуть подождите... — таинственно пробормотал он. — Приехало большое начальство. И иностранцы... Но я уж перезнакомился. Вы только не мешайтесь. Отойдите в сторонку, обождите.

— Не американские ли туристы? — спросил какой-то рыбак. — Я в газетах читал, группа приехала. Так ведь это литовцы, хоть и обамериканившиеся. И жены моей дядя...

— Чистокровнейшие иностранцы! Из Центральной Европы, — с важностью перебил его Жиба. — Я им руку пожал, поговорили. Они кой-чего привезли. По пятьдесят лошадиных сил. Обещали мне показать. Понравится — закажу.

Ого! Рыбаки одобрительно закивали. Мощный мотор для катера — старая мечта.

— Ну, ребята, только чур — не лезьте куда не надо. В сторонке обождите.

Растворилась дверь. Жиба замолчал и проворно повернулся, будто сержант в казарме. Из конторы вышла группа незнакомых людей. Кто тут иностранец, трудно было определить: все как на подбор — осанистые, хорошо одетые, с портфелями, в шляпах. Доносились немецкие слова. Но вперемежку с литовской речью.

Жиба старался примкнуть к ним.

Они шли мимо рыбаков. Вдруг один из них — высокий, плечистый, с очень седыми висками, но свежим, румяным лицом — остановился и посмотрел на рыбаков.

— Фишер Роберт? Рыбак Роберт?.. — с изумлением воскликнул он, вглядываясь в Дьевиниса. — Мейн готт!

— Яволь... — смущенно отозвался Дьевинис. — Он самый. И вас узнал...

Иностранец с протянутой рукой бросился к рыбаку, принялся горячо здороваться с ним и так сыпал радостными словами, что сначала никто ничего не мог разобрать. Инженер из ГДР, доставивший новые моторы, и рыбак Дьевинис, приехавший за катером, обнимались, изумленно глядели друг на друга, крепко трясли друг другу руки, хлопали по плечам, по бокам, громко хохотали.

Появился переводчик, нашелся и фотограф. Рыбаку Дьевинису жали руку представители министерства из Вильнюса.

— Не отпустим вас ни сегодня, ни завтра. Теперь у нас два гостя... — твердили они.

Всеми забытый, Жиба плелся в самом хвосте. Изпод его велюровой шляпы градом катился пот. Но вскоре председатель очухался, снова начал пробираться вперед и всякому, кто только соглашался слушать, объяснял, что Дьевинис, мол, один из лучших рыбаков у него, Жибы, а он, Жиба, председатель артели, душа коллектива, отец родной рыбакам.

Робертас и немец познакомились во время войны. Рыбаков с литовского побережья выселяли из их гаваней и загнали в Лиепайский порт. Промысловый регламент был неумолим, как и прочие приказы оккупантов. Горючего — нигде ни за какие деньги, только у рыболовного «лейтера» в обмен на пойманную рыбу. Что делать рыбаку? Либо с голоду подышать, либо плыть в усеянную минами Балтику. Никогда еще жизнь рыба-

ка не ценилась так дешево в переводе на килограммы вонючего газа. Да и с этими килограммами сколько возни,— пока нацедят тебе жестянку в вечно пустом пакугазе!

Рыбаки, и в том числе Робертас Дьевинис, стали хитрить. Приписывали в рапортчики вымышленные морские мили, а плавали куда ближе. Они знали, что у мыса Пап рыбы видимо-невидимо, хотя в зеленоватой воде предательски затаились рогатые мины.

«Лейтер» требовал угрей, которых развелось великое множество, и притом невероятно жирных: много тысяч людей с кораблей, транспортов исчезали тогда в морской пучине.

Но стоит ли рисковать головой, чтобы у лейтеров и фюреров морды лоснились от свежих угорьков? И рыбаки привозили добычу в обрез, только для расчета за горючее. А сами питались и семьи кормили с тайной продажи «сэкономленного» газа, который был в одной цене с водкой.

Рыболовный «лейтер» приперся в Лиенау с Северного моря, но собирался тут осесть на целые столетия. Он почуял что-то недоброе, поднял бучу из-за горючего и пригрозил угнать рыбаков на угольные шахты.

Робертас Дьевинис доказывал, что судовой мотор совсем сработался и жрет горючее вовсе не по нормам, предписываемым герром лейтером, дизеля на ладан дышат, нет запасных частей, и всякий раз, выходя в море, рыбаки крестятся, не зная, увидят ли вновь свой берег...

Начальник рыбного промысла не верил ни одному слову туземцев. Проверять судовые моторы он привел унтер-офицера с верфи для ремонта подводных лодок.

Так в первый раз столкнулся Дьевинис с высоким, светловолосым немцем Рихардом Грейфером.

— Шнапс, эйер... Водка, яйца...— шептал будто незначай Дьевинис, пока унтер-офицер проверял судовые дизеля.— Будет и гусятина...

Унтер-офицер сердито выругался и отказался от подарка рыбаков. У тех поджилки тряслись, им уже мерещились бездонные шахты. Кое-кто собрался даже бежать из Лиенау, бросив свои суда.

После проверки унтер-офицер заявил лейтеру:

— Они говорят правду.

Рыбаки помнят добро. Немного спустя они встретили на улице унтер-офицера, заговорили. Мало-помалу знакомство завязалось. Как-то раз сошлись за бутылкой. Рихард Грейфер не гнушался дружбой простых людей.

А однажды ночью он явился к Робертасу Дьевинису в каких-то лохмотьях, похожих на рыбацкую одежду, и попросил:

— Увезите меня из города!

Два дня и две ночи скрывался Грейфер в рыбацьем бараке, с маузером в руках, выжидая, пока все уладится в гавани.

Они вышли в море в темный осенний вечер. Грейфера поставили третьим на катере. Когда проезжали мимо портовой стражи, он топил в каюте печь.

В тот раз Робертас Дьевинис не отходил от руля семь часов и заплыл так далеко, как никогда до сих пор. Давно скрылся берег со своими башнями. На заре показался незнакомый катер. Пять раз мигнул электрическим глазом, как и предупреждал Дьевиниса беглец. Перелезая на катер, сказал Дьевинису:

— Много горя причинили миру и людям немцы. Но не все они из одного теста. До свиданья — когда не будет ни войны, ни проклятий!

Чуть не двадцать лет назад...

— Это — твердый антифашист, — показал немец на Дьевиниса. — Ты, Робертас, кажется, еще тронх или четверых наших вывез?

А похвалы для Дьевиниса — что нож острый. Он не знает, куда и деться, топчется на месте, швыряет недокуренную сигарету, долго тушит ее каблуком, а потом закуривает другую. От волнения у него даже пальцы дрожат.

— Мы люди простые, как все... — говорит Дьевинис по-литовски, будто берлинский житель обязан понимать родную речь рыбака.

Рихард Грейфер и Робертас Дьевинис разговаривают и разговаривают, мешая немецкие и литовские слова. И неплохо понимают друг друга. В человеческой памяти не все тонет бесследно.



игде в мире не найти вам такой дружной семерки, как мы. Суеверные утверждают, что семь, девять и тринадцать — чертовы числа, приносящие несчастье. Мы лишь смеемся в ответ на эти глупые бредни. Там, где проходит наша семерка, — земля радуется, небо кланяется, а волны озер манят к себе.

Рождение нашей семерки было встречено свистком милиционера, а последний наш поход кончился триумфом — сражением с чудовищем.

Кто же мы такие? Сигитас — широкоплечий, краснощекий верзила с черными как смоль бакенбардами — штамповщик завода пластмассовых изделий. За свои золотые руки он часто премируется и поэтому недавно стал обладателем импортного мотороллера, на котором ныне чувствует себя чемпионом по скоростным пробегам.

Я — неизменный спутник его головокружительных гонок, постоянный свидетель того, как регулировщики угрожают Сигитасу так прищемить ему хвост за недозволенно быструю езду, что он до конца дней своих не захочет улыбаться.

Сигитас любитель самых острых, волнующих ощущений. Может быть, поэтому он первый проведаль о группе любителей парашютного спорта и немедленно туда записался, уговорив и меня. Мы решили прыгать с парашютом, что вскоре и осуществили. И шелковый купол парашюта стал таким же привычным Сигитасу, как стальной кулак его пресса.

Сигитасу нравилась девушка, рентгенолог Ниёле. Видно, прихлась она ему по душе потому, что уверенно водила мотороллер и не боялась дальних странствий. Ниёле была неразлучна с Гедре, студенткой консерватории, задумчивой девушкой, любившей вечерние прогулки под моросющим дождем. Она писала весьма рассудительные письма своей маме, в которых осуждала сверстниц, красящих губы, хотя сама взбивала свои волосы в пышный пучок.

Гедре была слегка равнодушна к будущему художнику Зигмасу, примкнувшему к нам. Он представился студентом пятого курса, а на самом деле был лишь на втором. Когда все выяснилось, ребята принялись издеваться, уши Зигмаса пылали, а Гедре обозвала его «трусливой куропаткой». Но вообще-то он был парнем сносным, волосы не отпускал, как многие художники, галантно танцевал и охотно помещал свои карикатуры в нашей сатирической стенгазете. Рисунки Зигмаса принесли ему славу и утвердили в нашем содружестве.

Из отряда любителей парашютного спорта присоединились к нам Милда и Лауринас. Будущий педагог, длинноносая, высокая Милда была страстной любительницей парусных гонок.

Лауринас — чертежник из конструкторского бюро. Совершив несколько прыжков с парашютом, он стал покупать книжки о водолазах. Из карманов его пальто и пиджака неизменно торчали всевозможные пособия о подводном спорте, книги об охотниках за жемчугом и романы о несметных сокровищах потонувших кораблей.

Он первый заявил:

— Мы поднялись в голубые просторы воздушного океана, а теперь нам надо нырнуть в темное подводное царство...

Так сатирировал он нас на необычное мероприятие. Решено было приобрести аппараты, дающие возможность дышать и двигаться под водой. Мы откладывали свои сбережения в общую кассу (Зигмас был освобожден от взносов, так как жил на стипендию). После долгого ожидания мы в страшной толчее и давке, как следует поработав локтями, купили в магазине спорт-товаров два акваланга.

Лауринас, как щука, первым нырнул на дно реки, только серебристые пузырьки забулькали. Вскоре он стал заправским исследователем глубин и барахтался на дне водоемов, как на лужайке.

Заглянули и мы в неведомое царство, удивило оно нас и обрадовало... Откровенно признаюсь: мы открыли новый мир, который был доступен не каждому.

После этого мы не пропускали ни одного выходного дня, чтобы не понырять, не опуститься на дно, полное загадочных и трепетных теней.

Куда только не забиралась наша дружная семерка! У Лауринаса, оказывается, тоже был старый мотоцикл с прицепом, который перед каждым крутым подъемом надрывно кричал и кашлял,—ну точь-в-точь как чахоточный. Как часто видели мы Лауринаса, ремонтирующего в пути свою допотопную таратайку! Он на чем свет бранился и грозился когда-нибудь облить свою машину бензином и поджечь. Вблизи обычно сидел Зигмас и рисовал, а Милда, по локти выпачкавшись смазочным маслом, добросовестно помогала Лауринасу оперировать заболевший мотоцикл.

И все же, несмотря на аварию, мы обычно добивались до какого-нибудь озера, окруженного неведомым лесом. Разводили костер, пекли картошку, варили уху, жарили грибы. По вечерам любовались луной, глазели на тлеющие угли костра, в то время как Гедре в одиночестве бродила по берегу уснувшего озера, пела песню о таинственных водах, далеких звездах и серебристом лунном свете. Пела Гедре тихо, и песня ее волновала, как вздох теплой летней ночи...

Чудесны были эти вечера под бескрайним звездным покровом, когда рядом ласково потрескивает костер,

когда чувствуешь вблизи верного друга, который, как и ты, стремится проложить путь в неизвестность...

Мы никогда не ездили по пройденным уже дорогам. Всякий раз наша семерка отправлялась в незнакомую местность, всегда видела что-то новое, узнавая, как хорошела наша родная земля, какие сказочные дары приносит она нам и нашим друзьям.

В тот раз мы долго мчались по извилистым дорогам Аукштайнии, то взбираясь на холмы, то опускаясь в цветущие долины, то проезжая мимо старых дремучих лесов, деревья в которых походили на столетних старушек. Привал мы устроили у большого озера, очертаниями своих берегов напоминавшего месяц, обрамленный высокими соснами. Радовались тому, что ночь рассыплет свои звезды в воде, а наша веселая песня взлетит в бесконечную высь.

Но вдруг разразилась гроза. Небо раскалывали ослепительные молнии, а ураганный ветер гнул деревья к земле. Озеро избороздили гневные волны, будто крылья, на которых оно хотело бы улететь вслед за ветром. Только мы никуда не торопились. Спрятавшись под брезентом палатки, мы слышали, что проливной дождь хлещет ее словно свинцовым хлыстом. Брезент гудел, как морской парус, по нему то и дело бабанили сорванные ветром шишки...

К утру буря утихла, и вскоре все вокруг залило ярким солнечным светом. Казалось, земля расцвела самоцветами, сверкавшими и переливающимися в тысячах росинок. Берег озера превратился в чудесную шкатулку со сказочными сокровищами.

Девушки побежали собирать грибы. Художник стал разводить костер. Милда чистила только что пойманную щуку, а Сигитас продолжал удить, Лауринас, что-то насвистывая, то и дело поглядывал на легкую рябь, которая даже в это ясное утро хмуро бороздила озеро. Он был занят починкой одного из редукторов акваланга.

Приведя его в порядок, он надел акваланг и нырнул в воду. Больше семи минут не появлялся наш друг, а потом выплыл далеко-далеко от берега. Лежа на спине, Лауринас разбрызгивал ногами воду и что-то напевал.

Вскоре к нему присоединился и Сигитас. Они резвились в воде, как дельфины. Подбрасывая в костер хворост, я слышал как они громко переговаривались:

— Брр... Какая холодная вода...

— Чувствуешь, как засасывает?..

— А какая темная!

— Постой, кажется, меня сом по лбу хвостом хлопнул...

Вдруг на берегу появилась запыхавшаяся Гедре. Она сорвала с головы платок, помахала им и звонко крикнула:

— Сигитас, Лауринас! Вернитесь... Сейчас же вернитесь! — В голосе ее звучала тревога.

Не успели парни выбраться на берег, как из кустов с шумом вылезла Ниёле в сопровождении седого как лунь, сгорбленного старичка.

— С ума вы сошли! — прохрипел он дребезжащим голосом. Воспаленные, дряблые веки его дрожали, в поблекших глазах застыл страх. — Знаете ли, куда голову суете?.. В самую пасть дракону, подводному змею... Как цапнет вас, косточек не останется, мать родная оплакать не сможет... Бывали и у нас такие храбрецы, да только за свою глупость кровью расплачивались.

Мы вмиг окружили его, не понимая, о чем он бормочет и что пророчит. Больше всех горячилась Гедре, она поддакивала ему и вместе с ним уверяла: да, в озере обитает страшное чудовище, которое легко может откусить ногу или руку. Ниёле вспомнила даже, как однажды читала в газете, что в каком-то озере в Англии обитает допотопный змей. Кто знает, может, и тут то же самое. С тревогой поглядывала она на Сигитаса, а тот лишь плечами пожимал да посмеивался над ее фантастическими догадками.

— В каком веке, спрашивается, мы живем? — говорил он. — Я убежден, что последний дракон умер, когда мы перешли из первого класса во второй...

Лауринас оказался более сдержанным. Он утверждал, что озеро в самом деле очень глубокое и вода в нем холодная. Следует быть осторожным...

А старик, присев на пень, твердил свое. Неужели, мол, прошлой ночью чудовище не вылезало на берег?

Это оно, встав на задние лапы, опираясь о хвост, ломало и крошило верхушки сосен... В ту пору тоже деревья были как серпом скошены... Спрашиваете — когда? Очень давно: может, пятнадцать, а то и двадцать лет тому назад. Гляньте на ту сторону. Видите пополам расколотый дуб? Это его работа. За одну ночь вершину такого дерева, как полевую метлицу, снесло.

Зигмас скептически улыбнулся, пожал плечами и насмешливо пробормотал:

— Ну, знаете... Ну, знаете... — И, склонившись ко мне, прошептал: — Старикашка от старости рехнулся немного... С виду ему каких-нибудь девяносто... Для такого молния — светопреставление...

Так началось это необычное утро. Мы, конечно, не верили в существование подводного змея, однако ощутили беспокойство. Озеро, по своим очертаниям похожее на ущербный месяц, показалось нам каким-то зловещим. В самом деле, почему в нем такая темная вода? И что таят в себе его глубины? О чем могут они рассказать?

Я увидел, как Сигитас внимательно глядел на воду, а его широкая грудь, отполированная солнечными лучами под бронзу, беспокойно вздымалась. Он то и дело облизывал губы, будто ему хотелось пить.

Старичок сообразил, что мы не оценили его предупреждения. Обидевшись, он с трудом приподнялся и пробормотал:

— Как себе знаете, а я за вас помолюсь. Все едино кому-нибудь живым не вернуться... Спросите хотя бы у Руджёкаса. Парень тоже нырял как рыба, а полбока в озере оставил... На всю жизнь калека. Да что говорить, вы сами можете взглянуть на след дьявольских зубов, Руджёкас сейчас к воде ни на шаг!

— Давайте разыщем этого Руджёкаса! — воскликнула Милда. — Эй вы, мужчины, беспокойные души, пошли прочь!.. Не умеете вы со старым человеком разговаривать по-серьезному. Садитесь, дедушка... Что они понимают, эти сорванцы... А мне все это очень интересно... Ниёле, Гедре, присаживайтесь рядом...

Зигмас сразу извлек пользу для себя — вытащил блокнот и стал набрасывать эскиз: седой, дряхлый старик, окруженный девушками! Все это так походило

на древнее предание — старый литовский жрец-вайдила рассказывает легенду юным весталкам.

А мы тем временем растянулись на солнышке и стали жарить свои спины. Нам было ничуть не страшно, сказкам давно никто не верил, а многие из нас даже удивлялись суеверным людям.

Но события обернулись не в нашу пользу.

Оказалось, что этот Руджéкас никем не был выдуман. Вскоре девушки привели в наш лагерь здоровенного, широкоплечего детину лет тридцати, с виду спокойного и добродушного. У него был один изъян: он сильно хромал на левую ногу.

— Двадцать лет тому назад я нырял как рыба. Никто из односельчан глубже меня не нырял. Я хватал монету на лету в воде. И вот как-то раз меня едва эта вода не схватила... Это вон на той стороне, против старого явора, в каких-нибудь двухстах метрах от берега... Вон там, видите, где кончаются кувшинки. Видите заросли этих белых цветов...

Но слов его нам показалось мало. Мы попросили, чтобы он показал следы увечья, о котором говорил старик. Руджéкас сбросил рубашку. Мы ахнули. Страшный шрам шел по его левому боку, захватывая часть живота и кончался в паху. Казалось, будто кто-то, взмахнув острым как бритва ножом, пытался отрезать часть тела.

— Ну а вы в тот момент что-нибудь видели?

— Я ясно видел длинные, широкие щупальца... Словно это была огромная рыба с острыми, загнутыми назад плавниками. Громадина с половину нашей деревни. Я ударился об один плавник, и меня будто ножом полоснуло. До того я мог пять километров пробежать без передышки, а после ранения, как видите, охромел.

— А может, это было старое дерево? Или коряга?

Руджéкас грустно улыбнулся и отрицательно покачал головой.

— Это место я знал как пять своих пальцев. Там никогда ничего не было. Дно чистое и гладкое. Я там всегда нырял, на дне чистый песочек. Наберу ракушек и вытащу их на берег всем на диво. Девушки нанизывали их на нитки и делали ожерелья. В тот раз я

вынырнул, обливаясь кровью, еле доплыл до берега и ухватился за куст. Там я потерял сознание и едва не утонул. Ребятишки вытащили.

Мы молчали в задумчивости. Молчало и темное, нахмурившееся озеро. От него веяло прохладой.

Вдруг Сигитас стал привязывать акваланг.

Ниёле крикнула:

— Сигитас, не смей!

— Неужели наша семерка сдается, опустит свое знамя? — спросил он изменившимся голосом. — Эй, ребята, кто со мной?

Все мы бросились к лежавшему на траве второму аквалангу, однако Зигмас оказался быстрее всех. Он упал на него и подмял под себя.

Девушки очень перепугались. Гедре схватила художника за руку и, едва сдерживая слезы, умоляюще глядела ему в глаза.

Зигмас стал лихорадочно привязывать ремни, хотя пальцы его не очень-то слушались и он с трудом застегнул пояс.

Был полдень. Солнце высоко поднялось над озером и залило его ярким серебристым светом. Где-то в лесной чаще печально прокуковала запоздалая кукушка. Над тростником взлетела и плавно захлопала крыльями цапля. Ее черная тень скользнула по водной глади.

Два храбреца забредали все глубже и глубже. Потом один из них махнул нам на прощанье рукой, и вода над ним сомкнулась. Две волны набежали друг на друга и растаяли. Теперь не было видно ни Зигмаса, ни Сигитаса.

Гедре ничком упала на мох и прикрыла ладонями лицо. Лауринас не отрывал глаз от часов — было условлено, что на первый раз пловцы пробудут под водой ровно пять минут.

— Пять... шесть... семь... — громко считал Лауринас. Его голос начал дрожать, стал более отрывистым и хриплым. — Восемь минут...

Ниёле расплакалась:

— Почему мы не взяли лодку? Как могли мы их отпустить без сигнального каната?

Но ее никто не слушал. Все смотрели на озеро.

Неужели в нем и впрямь обитало чудовище?

— Лодку! — с тревогой крикнул Лауринас.

Милда стремглав бросилась к другому берегу, где находился одинокий рыбак в утлой лодчонке.

— Лодку! Лодку! — кричала она. — Сюда, скорее! К нам!..

Вдруг вода заволновалась, вспенилась. Будто пробки, вышибленные из бутылки, на поверхность выскочили два наших товарища. Они торопились, словно за ними кто-то гнался. Сигитас махал рукою. А Зигмас орал истошным голосом:

— Нашли! Нашли!

Подплыв к нам, Сигитас оживленно крикнул:

— Стальной трос! Трактор! Да поскорее!

Тут Руджикас с неожиданным проворством быстро заковылял в сторону деревни.

Вскоре берег озера был усеян людьми. Повсюду белели платочки, поднимались вверх струйки табачного дыма, тархтели телеги. Тяжело пыхтя, пробирался сквозь кусты и лесные завалы трактор. Идущие впереди крестьяне топорами прокладывали ему путь. Аква-ланг у Зигмаса отнял Лауринас, и он нырнул на дно, унося за собой конец стального троса.

Стальной трос, один конец которого ушел глубоко под воду, натянулся как струна. Из-под гусениц трактора летели клочки мха, комья земли. Он пыхтел и фыркал, но понемногу продвигался вперед.

Вода стала кипеть и пузыриться, на поверхность все чаще всплывали скользящие водоросли, ил, грязь. Медленно выглянул дьявол, весь изогнутый, покоробленный, перекошенный. На его изъеденной глубокими морщинами металлической обшивке все еще виднелись черные кресты и свастика. Весь фюзеляж был облеплен грязной тиной. Торчали острые как шипы клочки рваного железа. Сверкнула стеклянная крыша кабины.

Мы бросились в воду встречать поднятый из своей могилы гитлеровский бомбардировщик.

И тотчас же увидели, как под стеклом в странных, неестественных позах плавали и покачивались, словно восковые болванчики, два мертвых летчика. Они нахо-

дились на тех местах, где сидели двадцать лет назад, неся свой смертоносный груз, чтобы сбросить его на спящие города и села. Бесславно и безвестно закончили они свой путь, упав с высоты в мертвые, холодные воды. Но их злые счеты с жизнью еще не были сведены. Лежа в могиле, они пытались угрожать всем живущим. Мы навсегда лишили их этой возможности.

Старичок, еще так недавно толковавший нам о змее, глядел во все глаза и молчал. Но его бледные губы что-то невнятно шептали. Может, он благодарил бога за то, что дождался часа, когда своими глазами увидел чудовище.

Неподалеку стоял Руджёкас и смотрел на рваное железо крыла. Он-то до конца дней своих будет помнить, кто напал на него в глубине озера.

Толпились люди. Слышался оживленный разговор. Ребятишки обливали друг друга водой и лазали по скользким крыльям самолета.

А озеро, до сих пор казавшееся нам таким загадочным, вроде изменилось. Будто его темная глубь просветлела и засияла небесной лазурью.



аэродрому подъехали, как было условлено, в семь часов утра. Агне сопровождал заведующий лабораторией арборицидов Янкус. Он сам управлял своим зеленоватым, нарядно сверкавшим «Москвичом».

Агне волновалась и не скрывала этого. Сегодня она впервые облетит на крыльях свою родную Жемайтию¹.

Она рассеянно слушала последние наставления заведующего лабораторией, опытного и осторожного ученого... Янкус был озабочен, по-отечески тепло беседовал с Агне, стараясь, чтобы все обошлось благополучно. Он рассказывал об ольшаниках и посевах клевера, о березовых рощах и картофельных полях, о бутиловом эфире и натриевой соли и о губительном воздействии этих химикатов на растения... Обо всем этом Агне давно уже знала, не раз проверяла данные и хорошо их усвоила. Однако, снаряжая Агне в ответственную научную командировку, заведующий очень волновался и всем сердцем желал ей удачи. Ведь нынешний полет — важное событие в их лаборатории. Это лишь начало больших ра-

¹ Жемайтия — Северо-западные районы Литвы.

бот. Впервые в Литве арборициды будут пущены из-под крыла самолета. Век авиации с грохотом ворвался в царство стеклянных реторт, научных формул и арифмометров. Все это должно теперь выйти из кабинетов лаборатории и увидеть солнечный день. Пробыл долгожданный час.

Янкус коротко бросил Агне своим жемайтйским говорком:

— Все сделаем, Агне! И так сделаем, чтобы люди лишь рты разинули!..

Они свернули к белеющему строению аэродрома. На зеленой лужайке уже стоял самолет. Красивая гордая птица с приподнятым носом и распластанными крыльями, широко поставив ноги, прочно упиралась в землю. Она была готова к взлету.

Начальник отряда сельскохозяйственных самолетов в коричневой куртке и сдвинутой на ухо синей фуражке встретил Янкуса как старого знакомого.

Заведующий представил свою спутницу:

— Познакомьтесь... Кандидат наук Агне Гелажюте... Сотрудница нашей лаборатории.

Начальник в свою очередь познакомил их с пилотом:

— Альгирдас Платукис... Летчик из наших молодых кадров.

Агне поклонился молодой паренек каких-нибудь двадцати четырех лет, полнощекий, коренастый, широкоплечий.

Альгирдас Платукис вскоре показал, что терять даром времени нечего. Он быстро устроился в кабине, надел радионаушники и жестом руки пригласил Агне: идите, мол, сюда, садитесь рядом...

Через полчаса самолет уже летел по намеченной трассе. Позади остались живописные острова на Тракайских озерах, опоясанные зеркалом синих вод. Засияла голубая ширь Каунасского моря, яркая и сверкающая как расплавленное серебро. Зеленые леса сбегали к берегам, и стволы деревьев купались в свежем холодке утренних волн.

А самолет все летел и летел на запад, в подернутую серой дымкой даль, к Жемайти, покрытой дремучими лесами.

Агне все казалось, что летят они слишком медленно. Как найдет она с такой высоты свои Нуошалайчяй? Ведь это крохотная, едва заметная точка, затерявшаяся в чащах шумных лесов. Но она непременно должна увидеть этот захолустный уголок! Отсюда, из небольшой начальной школы, много лет назад начала она свой путь в жизнь...

Агне посмотрела на сидящего рядом пилота. Черные очки скрывали его глаза. Он спокойно поглядывал по сторонам, изредка наклоняясь над картой.

Неужели среди этих зеленых, красных, синих и розовых значков, линий и черточек нет ее Нуошалайчяй?

Она улыбулась. Ведь ее Нуошалайчяй — лишь след укола иглы в просторах земли. Как найти ей сегодня эту затерявшуюся точку, когда она как птица взвилась в поднебесье...

И все же Агне не вытерпела. Стараясь перекричать шум мотора, она обратилась к пилоту:

— К юго-западу от Тельшай есть Нуошалайчяй... Совсем маленькая, крохотная деревушка...

Юный пилот откинулся на своем сиденье, удивленно приподнял брови. С явным интересом взглянул он на Агне:

— Нуошалайчяй? Вы спрашиваете о Нуошалайчяй?

— Знаете ли вы такую деревню? — волновалась Агне.

— Прекрасно знаю.

— Будем ли мы мимо нее пролетать?

— Обязательно!

— Покажете?

— Хорошо! — он глянул на часы. — Через сорок три минуты!

Летчик вытянул руку, повернул рычажок какого-то прибора и вновь удивленно посмотрел на свою спутницу. Чувствовалось, что он очень заинтересовался Агне и ее странным желанием. В его глазах зажглись задорные огоньки.

Между тем Гелажюте из окна самолета глядела в бездну. В глубине этой бездны будто на широком экране медленно проплывал цветистый узор пейзажа. Но еще быстрее, чем пейзаж, летели мысли Агне. Словно

быстрокрылые ласточки неслись они вперед... Туда, в маленькую, нигде на карте не обозначенную деревушку.

Агне внезапно охватило какое-то странное волнение. Она еще раз пристально взглянула на молодого парня, крепко державшего в руках штурвал. Темные очки прикрывали добрые, дышащие отвагой глаза. Черты пилота почему-то показались Агне знакомыми. Она еще раз вспомнила его фамилию...

С каждой секундой сомнение таяло. Твердая уверенность внезапно овладела Агней. Она знала тайну! Прекрасную, волнующую, человеческую тайну. По сей день она ее никому не открыла и, пожалуй, никогда не откроет... Ведь это было ею когда-то обещано!

...В тот год начало зимы было каким-то необычным. Кончился декабрь, а снега нет и в помине. Вокруг растянулось непролазное болото, и в нем отражалось низкое, хмурое небо. Леса окутывал сероватый туман. Порывы теплого ветра предвещали, казалось, наступление ранней весны. Крестьяне ходили в полушубках нараспашку.

Агне Гелажюте сидела в своей комнатухе и читала роман «В тени алтарей»¹. На мансарде тяжело поскрипывали половицы. Это хозяйка дома толстуха Домантене прохаживалась своим слоновьим шагом по комнате. Захныкал, а потом громко расплакался ребенок.

Вдруг за дверью кто-то стал шаркать ногами, отряхивать с клумпес² грязь. Агне прислушалась. День клонился к вечеру. В такой час обычно никто не заглядывал в школу, расположенную вдали от проезжей дороги. Агне слушала с волнением и вместе с тем с тайной надеждой. А может, к ней? Только вряд ли...

Открылась, потом вновь затворилась дверь в прихожей. Молчание. Из сеней вела крутая лестница к Домантасам. Сам хозяин, служивший некогда в царской

¹ Антиклерикальное произведение литовского писателя В. Миколайтиса-Путинаса, написанное им в буржуазные годы сметоновской Литвы.

² К л у м п е с — деревянная обувь литовского крестьянина.

армии, кое-что смыслил в законах и разбирался в волостных порядках. К тому же один лишь он во всей окрестности имел детекторный радиоприемник. Крестьяне, возвращаясь из леса, частенько останавливали лошадей у дома и заходили к Домантасу. Обычно они спрашивались у него, правильно ли составлено заявление в банк с просьбой о ссуде. Кстати там можно было послушать последние известия из Каунаса, которые едва слышным шепотом передавала радиокоробка.

Агне поворачивает страницу. Ее охватила жалость и страх за юного клерика¹, который первый раз в жизни полюбил и страдает в тяжелом раскаянье.

Внезапно раздается чуть слышный скрип. Кто-то стоит по ту сторону тяжелой бревенчатой двери. Агне не видит человека, но чувствует его присутствие, внимательно следя, как узкое отверстие в приоткрытой двери понемногу увеличивается. Будто не живая рука, а ветер распахивает ее все шире.

Но почему неизвестный гость как призрак бредет по опустевшему классу? Почему крадется он к дверям неслышной, кошачьей походкой?

В полуоткрытую дверь Агне видит: на пороге стоит женщина, укутанная в черный платок. Она смотрит на учительницу жгучим, беспокойным взглядом.

Агне вздрагивает — такой странной кажется ей эта гостья.

Собственный голос ободряет ее:

— Войдите!

Женщина, по-видимому чем-то очень взволнованная, несколько мгновений медлит, не решается. Наконец, тяжело вздохнув, переступает порог. Ее шагов не слышно. По обычаю местных жителей она оставила клумпес в прихожей и стоит в грубых шерстяных носках.

Агне внимательно разглядывает гостью — нет, она никогда ее не видела и с ней не знакома.

— Подойдите ближе. Садитесь...

Женщина молчит и продолжает стоять у дверей. Она явно встревожена и тяжело дышит.

¹ Клерик — ученик католической духовной семинарии, будущий священник.

— Я к вам по очень секретному делу, госпожа учительница...

Агне приветливо улыбается и делает движение рукой: сюда, поближе, объяснитесь...

— Я к вам с большой тайной. Вы не обидитесь?

Женщина все еще стоит неподвижно. Лишь теперь учительница замечает, что незнакомка под платком что-то держит.

— И никому моей тайны не откроете?

— Нет! Нет!

— Никогда никому не расскажете?

— Я ведь вам уже ответила.

— Значит, никогда?

— Никогда.

Женщина еще раз вздыхает, но все еще не решается и продолжает стоять. Лицо ее ярко румянится.

— Подойдите, сядьте же наконец! Чего вы стоите?

— Сейчас! Дайте немного опомнись.

Женщина торопливо распахивает платок и вытаскивает из-за пазухи белого петуха с огненно-красным гребнем и связанными ногами. Она сажает птицу в угол возле самой печи, а сама робко опускается на краешек стула.

Агне ждет, что скажет ей незнакомка. Но та даже рта не раскрывает. Томительно тянется минута молчания. Слышно, как в окна барабанят капли дождя.

— Никому? — еще раз спрашивает женщина.

— Ни-ко-му, — по-заговорщицки подтверждает Агне.

— Научите меня расписаться.

— Что же это за тайна?

— Муж мой каждый день твердит: дура баба, даже расписаться не умеешь. Всякий раз все о том же. В последнее время даже спать не могу... Сегодня вечером, всю неделю, даже две, а то и все полгода училась бы у вас, милая барышня... Только научите расписаться.

Агне нежно гладит ее по плечу:

— Успокойтесь. Уже сегодня вечером вы сможете написать свою фамилию...

— Неужели? — гостья обрадованно вскакивает. — Вы это всерьез?

— Как звать вас?

— Платукене...¹ Платукене зовут меня.

— Кому, Платукене, принесли вы этого петуха?

— Неужели даром трудиться будете?

Петух, будто поняв, о ком идет речь, гордо поворачивает свой клюв и сердито моргает желтыми бисеринками глаз.

Агне кладет на стол лист бумаги, карандаш.

Платукене оживляется:

— Вы, барышня, ученая... Мне и невдомек было, что вы с простым человеком как с равным обращаться будете...

— Гляньте, Платукене. Вот эта двойная палочка с птичкой наверху — буква «П», а вон та закорючка обозначает букву «л». Давайте попробуем написать: П...л...а...т...у...

Женщина низко склоняется над столом. Агне еще никогда не видела такой прилежной ученицы. Маленькие корявые пальцы крепко сжали карандаш. На белом листе бумаги они выводят неуклюжие крючки да палочки...

— Эх, буквы-буквочки... — остановившись, вздыхает Платукене. — Измазала весь лист, а хорошо ли — сама не знаю.

Она рассказала, что живет у самого озера за шестым километром на хуторе, что у них четыре гектара земли и четверо девочек, а муж ходит на мельницу и плотину стронт.

— Он у меня славный человек, да только больно уж горяч и строптив, — разоткровенничалась Платукене. — За пять центов возьмет у почтальона ворох газет. Расстелет одну на столе, а мы к ней даже близко не смей подойти, чтобы жиром случайно не залить или нечаянно не порвать: ведь газеты-то почтальону в целости вернуть надо. Вот так муж и читает нам вслух обо всем. Мы сидим у печи затаив дыхание, и, кажется, всю ночь слушали бы. О хлебе насущном и о похлебке думать забываем. Однажды прочел он, что барин из Каунаса купил за границей своей ослепшей собаке очки. А стояли эти очки без малого столько, сколько вся наша земля

¹ Платукене — фамилия женщины, жены Платукаса.

вместе с избой... Вот какие дела на божьем свете творятся...

Отдохнув, Платукене вновь берется за карандаш и начинает выводить первые буквы в своей жизни. Неуклюжие каракули лезут одна на другую, сшибаются лбами, прыгают вверх или сползают вниз на белую целину листа.

Агне терпеливо объясняет.

И наконец говорит:

— Вот вы и научились расписываться.

— Неужели это — Платукене?

Женщина осторожно водит ногтем по маленькой строчке. Она еще больше покраснелась. Какая все же она красивая! Агне невольно подумалось: как может ее муж так унижать, так бесчувственно относиться к ней?

Платукене будто угадывает мысли учительницы. Придвинувшись, она доверительным шепотом открывает свою женскую тайну:

— О, не подумайте, он вовсе не плохой человек. Он такой родной, такой близкий... Я ведь хорошо знаю, у него сердце болит, что я слепа как сова, безграмотна. Вот я и хочу ему подарок сделать. Возьму да и распишусь. А где научилась — никогда не узнает!

Она сияет будто невеста.

— Приходите как-нибудь вечером, — предлагает Агне. — Я вас научу и письма писать. Читать научитесь...

— К чему мне это? — удивляется Платукене. — Газеты он сам вслух читает, а писем никто нам не пишет, поэтому и писать некуда. Мы — люди горемычные...

Агне вздыхает. Краем бедноты, смрадной копилки и неясных надежд была ее Жемайтя! Кто разбудит ее от векового сна?

Хотя Платукене и очень противилась, Агне все же заставила ее взять петуха.

— Детям принесете, — успокаивала она взволнованную женщину. — Ведь деток-то у вас, поди, столько, сколько горошинок в стручке...

— И еще будет... — шептала Платукене. — Еще одного ждем... На сей раз обязательно сына...

Она поправила вылезшую из-под платка прядь и смотрела на Агне добрым, счастливым взглядом. В этот

момент женщина была очень красива — ведь она несла в мир радость, новую жизнь.

Учительница накинула пальто, надела высокие резиновые калоши и провожала Платукене мимо печальных березовых рощ, окутанных декабрьским туманом. Под ногами хлюпала грязь. Они беседовали, будто очень близкие, закадычные подруги. Платукене мечтала о сыне, пятом ребенке в их семье...

В то время Агне чувствовала, что семейная теплота, таившаяся под соломенной крышей ветхой избушки на берегу озера среди древних лесов, — частица теплоты ее одинокого сердца. Это укрепляло, вселяло надежду. Двадцать пять лет тому назад это скрашивало ее серую, одинокую жизнь.

Пилот повернул штурвал и плавно положил самолет на крыло. Качнулась земля, и вместе с нею качнулись безбрежные леса, серые болота, хутора. Извилистое русло речушки вдруг завихляло и полезло вверх.

— Нуошалайчйй! — радостно крикнул паренек у штурвала. — Здравствуй, родной край. Привет вам, родители!

Синие впадины озер удивленно взглянули на птицу, весело ринувшуюся к ним с высоты, поющую песнь ликующей родине.

Агне видела головокружительно приближающуюся землю. Но ей не было страшно. Она верила в смелого, веселого, сильного парня, вернувшегося в свои Нуошалайчйй... Вместе с ним вернулась туда и она.

Агне хотелось помахать рукой голубому небу, полям и лесам, своей лаборатории, заботливому заведующему, всем-всем добрым, хорошим людям и крикнуть по-жемайтийски:

— Теперь мы всё одолеем! Свершим такие дела, что у людей дух захватит! Теперь ведь нам открыты все — маленькие и большие тайны.

БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПАССАЖИР



юди ругались последними словами. Мороза ждали как манны небесной. С залива непрерывно задувал сиверко, сек щеки, залезал в рукава, забирался под ватник, обжигал каждую живую клеточку. Но его неразлучным спутником оставалась слякоть, свинцовой кашинцей липнувшая к сапогам и сковывавшая каждый шаг.

Бетонировка набережной замедлялась до крайности: грузовики еле подвозили материал — они ломались и завязали, полдня приходилось прокладывать им дорогу. Люди с посиневшими и перекошенными лицами жались к костру, тревожно косясь на бригадира. Понятное дело, — в такие дни и заработок из рук вон плох.

Старый Алиошус перетянул тулуп брезентовым поясом, замотал шею шерстяным шарфом. С вечной капелькой под носом, он отогревал над огнем онемевшие пальцы.

— Мне то что... — причмокивая, пытался он рассмешить окружающих. — Кабанчика заколол... Два ведра сала. А вот наш Андриус... Взыщут с него, как с мильногого, алименты за железного младенца. До копеечки. Что, Андриус?

Но Андриус не отзывался. Да и не мог. Его вообще не было у костра. Он на пригорке сбивал деревянной бабой застывший бетон. Бам, бам... Бам, бам... Нехитрый инструмент в его руках взлетал и опускался, громя камушки, залепленные зеленоватой массой,—только молнии сверкали. Андриус и не глядел в сторону костра.

По глинистой ложбине, изрезанной лужами, шагала девушка—приподнимаясь на цыпочки, как журавль, перемахивая с кочки на кочку. Мужчины подняли головы.

— Тут Андриус Маурукас?

— Тут...— поторопился с ответом Алиошус.— Андриус!..

Высокий чернобровый Андриус обернулся. Рыская беспокойным взглядом по лицам людей, по всклокоченному ветром заливу, поправил железнодорожную фуражку со значком. По щеке скатилась капля пота.

Воткнув деревянную бабу в песок, Андриус снял варежки, потер ладонь, нерешительно потоптался на месте.

— Прокурор приехал! Из Кайшядориса. Вас вызывает,—крикнула девушка.— Приходите немедленно.

С лица Андриуса сполз розовый румянец. Черные брови выступили еще резче. Губы пересохли. Андриус облизнул их и медленно направился к девушке.

— Посадят... Без разговоров...— зашептал Алиошус соседнему землекопу.— Тут не спрячешься. Ему бы отсюда уматывать. Посадят...

Так они и пошли: Андриус — высокий, медлительный, с длинными болтающимися руками, и тонконогая стройная девушка, нахохлившаяся от ветра и громко хлюпавшая по грязи резиновыми сапогами.

— Сколько ему припаяют?

— Для того есть кодекс. Там на каждой странице тебя и в хвост и в гриву,—взялся за лопату Алиошус.— А такой был молодец этот Андриус! И чего ему не хватало? Видно, в каждом человеке бес сидит.

Ветер терзал пламя костра. Залив морщился и гнал на берег холодные черные волны. С откоса скатывалась подмытая галька и тонула в воде.

Люди продолжали работать спиной к ветру, размышляя всякий на свой лад об Андрюсе и его злосчастной доле. Никто в бригаде парня близко не знал — разве что Алиошюс. Железнодорожник появился на земляных работах совсем недавно. Черт подери! На ровном пути, под утренним солнышком... И чего ж ты, Андрюс, словно глупый козел, стукнулся лбом о железо?

2

Холодный ветер ерошил соломенную крышу, раскачивал пустой скворечник на раките. Посреди двора у распластанной туши юрко вертелся Алиошюс с гудевшим паяльником. Голубой язычок огня лизал бока зарезанной свиньи. Старик восхищался успехами техники — без пука соломы паленого кабанчика хоть на выставку! В воздухе носился приятный душок жареной свежинки.

— Андрюс! Эй! Сюда, помогай тащить.

Квартирант мелькнул в сених, но, видно, не расслышал — поставил сушить резиновые сапоги, а сам исчез в избе.

Тем временем к калитке подошел какой-то человек, — упитанный, средних лет, в шапке, обтянутой кожей.

— Бог в помощь, — молвил незнакомец.

Постоял у забора, расспросил, кто в округе дом продает. Из переселяющихся.

— Велик ли у нас пруд? — замысловато спросил Алиошюс, глянув на берег. За обнаженными стволами синел водный простор, которому конца края не видно.

— Пруд хоть куда... Столько земли проглотил — на пять имений хватит, — откликнулся незнакомец. — И еще, верно, не всё. Я шел бережком, вижу — валы насыпают. Поднимется вода?

— До девяносто шестой альтитуды, — научно растолковал Алиошюс и, прижав ноздри большим пальцем, высморкался по-простецки.

Во дворе появился Андрюс в синем бумажном комбинезоне, ловко перехваченном солдатским ремнем. Парню шла сдвинутая набекрень новенькая фуражка железнодорожника. Он был опрятный, подтянутый, хотя и не тороплив в движениях.

Прохожий изумленно выкрикнул:

— Не Андриус ли Маурукас? Господи боже, вот это встречал!

Негаданные встречи приносят с собой всякие неожиданности. Будто ты в путаной житейской лотерее взял и вытащил самый невезучий билет.

Вскоре Чейчала повесил на крюк в комнате подбитую мехом куртку и кожаную шапку. Сел к столу. Окруженная полумесяцем седых волос, плешь лоснилась, как спелое яблоко.

— Мы уж тебя и забыли, Андриус,— говорил Чейчала.— Сколько лет, сколько зим. Улетел как птица. Мы уж думали — не сложил ли где свои перышки.

— Не так уж много прошло...— густым басом возразил Андриус, польщенный удивлением Чейчалы.— С пятьдесят девятого. Без малого четыре года.

— Ты был такой же чернявый... И шрам на лбу. Из наших краев метка. Хе-хе-хе...

Андриус нахмурился. Давно зарубцевался след драки. Зачем Чейчале копаться в мусоре-прошлого? Было — и сплыло. Жена Андриуса — невысокая, с перекинутой через плечо косой, будто лень, — затревожилась: чего муж так сверкнул глазами?

— Золотые у тебя были руки...— продолжал щебетать Чейчала, заметив, что Андриус не хочет бередить старое.

— Как там наши? Как тетка?

— Петушков в колхозе разводит.

— А ты?

— Болезнь у меня в печени. Инвалидом признали.

— А председатель — прежний?

— Где там!

— Хорошо, что выгнали.

— Строг ты, Андриус,— подивился Чейчала.— Такова жизнь. Половину ее рекой затопит, половину — дождичком смоем.

— Ерунда! Река и покажет, кто повыше ростом. Одни доберутся до другого берега, а другие...

— А куда ж ты завербовался?

— Песок копал.

— В Литве или подальше?

— Железную дорогу прокладывали. Тарту — Тапу. Андриус с такой легкостью выговорил непривычные названия, что Чейчала даже назад откинулся.

— Верно, за Байкалом? Где белые медведи?

— Географии, дяденька, не знаешь. Рукой подать — в Эстонии.

Разговору много — во рту сохнет. Жена Андриуса принесла перекусить. Потом Алиошус выставил мисочку теплой убоинки с лучком. Нашлась и рюмочка.

Гость с любопытством разглядывал Андриуса — когда-то парня сорвиголову, на вечеринках умевшего левой рукой ловко врезать кому придется. Но парень рано женился, появились на свет трое сынков мал мала меньше. Куда деваться, коли все добро в одно одеяло замотаешь? Чейчала — тот издавна умел купить, продать, променять, ему с полгоря, коли трудодни нежирные. А Андриус и в руках не держал даже тридцатки. Что толку от пригожей жены, если и она — голой породы. Свагата прежде Чейчала Андриусу свою родственницу — бабу с хозяйством, с беконами. А парень как еж — на что мне, мол, соломенная вдова, у которой порог всеми перетоптан? Зато как посыпались ребятишки, узнал, почему фунт лиха.

— А из Эстонии куда? И кто на тебя казенную шапку надел?

— Потом с песка на щебенку. Работал с укладчиком. Знаешь, что это за штука?

— Мы — жуки деревенские. Я дальше вильнюсских Остробрамских ворот нигде не бывал.

У Андриуса глаза разгорались все ярче. Его подмывало все выложить дяде, который когда-то считался первым разумником. Пусть вернется в их деревню и на каждом углу рассказывает, каков Андриус.

— Укладчик — это такой особенный поезд, — сосредоточенно втолковывал Андриус. — Приедет, протянет клешни — сразу уложит целую дорогу. Со шпалами и рельсами, со всеми гайками. Уложит и проедет. Сам себе путь прокладывает. Раз-два.

— Все может быть, — вежливо согласился Чейчала. — А где ж ты там жил с женой, с малышами? И как сговаривался в Эстонии?

Чейчала считал: Андрюс бахвалится! В молодости и сам Чейчала ходил на строительство железной дороги Алитус—Калвария, но вскоре ему надоело размахивать киркой и таскать тяжелые рельсы. Развелось теперь хвастунов... Может, Андрюс и на луну железный путь прокладывал?

Маурукас раскраснелся, расстегнул ворот. Ему захотелось, чтобы в родной деревне все узнали о нем. Слышите, парни, с которыми Андрюс мерился силами на вечеринках? Андрюс о-го-го!

— Жили в вагонах. Лавка — под боком. А эстонцы такой народ, прямо к сердцу прижми! А знаешь, как кильки солят? А знаешь, мы рыбу сырую ели в таком рассоле — у каждого рыбака есть свой, заветный. Рецептам ихним по сотне лет.

Чейчала глаза пялил. Говорит Андрюс как по книжке. Правда, кончил семь классов. Но никогда не отличался бойким языком. Только на кулаки крепко: ты его тронь, он тебе — вдвое.

За столом было праздничное настроение. Бутылка сменяла бутылку. Чейчала записал адреса. Кто отсюда переезжает в поселок Абрамишкяй и продает старые дома на слом.

— А когда ж тебе, Андрюс, повышение дали? Небось подмазал начальника!

— Теперь другие порядки. Не прежние времена, когда, бывало, занкнись о деньгах — даже у покойника слюнки текут. Приказали мне: езжай в Могилев. С семиклассным образованием — станешь механиком. Тут уж нехотя в люди выйдешь.

Стемнело. Чейчала заволновался. До станции, где он остановился на ночлег, чуть не пятнадцать километров. Как туда добраться? А Андрюсу все казалось: дядя ему не верит, кривит губы в ухмылке. Еще, чего доброго, вернется в деревню и от зависти доброго слова об Андрюсе не скажет. Ведь соломенная вдовушка так и увяла без мужика, не сумел дядя высватать этой хрычевке доброго молодца, хоть она, наверно, сулила ему за то целую телку. Эх вы, купцы-менялы! Думаете человека к себе золотой иглой пришить. А он как птица: вспорхнул — и лови ветра в поле!

Чейчала все не унимался:

— Ладно, ты вернулся. Ученым стал. А своего крова, собственной печки — нету. Нужно чужим людям кланяться: Примут — хорошо. А как попросят об выходе — будь здоров! Знаешь сказку — разбей глиняный кувшин! Коли посудина пуста — останутся одни черепки. А вот ежели в этот кувшин вложить такое, что не бьется, не ломается? Ась?

— Мое ремесло веки не сломается! — горячо возражал Андриус. — Оно подороже золота и кувшина.

Чейчала встает из-за стола.

Доказал ли ему племянник свою правоту? Андриус сейчас готов одарить весь свет, даже и дядю Чейчалу, этого ловкача, который не упустит дня, чтобы чего не добавить в свою кубышку. Или, как он сам говорит, — в свой кувшин.

— Я тебе еще и билет куплю! — вскричал Андриус. Жена поймала за полу:

— Куда ты, хмельной, на ночь глядя? Хоть ключи от машины оставь.

Андриус оттолкнул ее.

Дядя и племянник брели по дорожке. С высоких столбов светили прожектора. В темноте ревели бульдозеры. Над озером Аникшта сияла белесая луна, а над ней изумленно застыли розоватые облака.

Из мрака вынырнуло странное диво, молча возвышавшееся над насыпью. Рельсы отливали тусклым серебром.

Немного пошатываясь, Андриус быстро взобрался по железным ступенькам. Отпер дверцы, включил свет. Гордый мотовоз засверкал никелем и множеством стрелок-указателей.

— Залезай! — позвал дядю Андриус. — Чего боишься? Ты еще меня не знаешь!

Чейчала послушно залез, озираясь в полной растерянности.

Колдун-чудотворец скользил пальцами по всяким ручкам, рычагам, кнопкам. Неужели это тот самый Андриус, молокосос в дерюжных штанах, месивший грязь весенних пашен, не знавший, как сесть, куда руки девать за уставленным яствами дядиным столом на

праздники, в сочельник? Ведь он, бывало, и чай пьет не сладкий — боится прикоснуться к стеклянной сахарнице.

Заметив изумление дяди, Андриус был прямо на седьмом небе. А чтоб взлететь туда, можно рискнуть чем угодно.

Мотовоз взревел. Чейчала осторожно опустился на сиденье. Как замороженный следил за родичем. Самый последний из всей семьи — а какого коня оседлал!

Ночь жалась к окошкам мотовоза, кутала черным пологом бравшую разбег машину. Ночь запугивала, предостерегала. Но Андриус зажег три ярких фонаря, прорезавшие мрак. Осветились придорожные деревья, насыпь, мосты.

Андриус сорвал с себя фуражку, высунулся из окошка, что-то кричал в ночную тьму.

— Были леса, болота, а теперь тут везде мне дорога. Кругом темная ночь, а мне на нее плевать. А ты у меня — безбилетный пассажир. И точка...

Чейчала ему не перечил, забился в уголок и, дрожа, бормотал молитву: «Мария, дева милосердная...»

Они живо проехали пятнадцать километров. Чейчала кубарем выкатился из мотовоза, шмякнулся на песок насыпи, охваченный радостью, будто перемахнул через пропасть.

— Идем, не форси, — тянул он за собой племянника в избу к знакомцу. — Есть у меня вареный окорок. И к нему кой-что. Видишь свет в окошке? Еще не легли — ждут. Нешто удержишь как заяц?

Спесь — словно гора с крутыми склонами. Поскользнешься — не за что удержаться.

Утреннее солнце взбиралось по верхушкам леса, как по ступенькам, рассыпая зарю.

Андриус кое-как вскарабкался на машину и поехал обратно. Утро, светло на дворе, но отчего перед глазами будто грязная тряпица? Почти ничего не видать...

Что там сереет на пути?

Андриус поднял руки, хотел ухватиться за тормоз, но пальцы одеревенели. Дж... дж... Тормозные колодки еле повинуются. Удар. Вылетают стекла из окошка. Рядом слышна ругань. И только теперь разодралась грязь

ная тряпица. Откуда тут вагон — кто его пригнал? Все ли колеса на рельсах? Эх, дурная башка, заехал на другую ветку!

— Смолол ты, брат, буфера. Твое счастье, что в болото не вылетел.

Андрюс сошел с машины. Солнце розоватыми лоскутьями укрывало болотные бадьи-окошки.

3

Обеденный перерыв. Землекопы рассыпались по ложбине. Огонь развели так, чтобы ветром не задувало, чтобы дым не бил в лицо. Старый Алиошюс вытащил завернутые в белый платок хлеб и сало, почистил щепкой лезвие складного ножа.

— Да уж... В каждом человеке бес сидит, — сказал он. — Ежели Андрюса за решетку, то его жена грозила уехать с детьми в Езнас, к тетке. Тогда найдется свободный угол. Могу принять столовником или так, без харчей, только на койку.

— Кому интерес твоих блох кормить?

— А ты не петушись! — отбрил Алиошюс. — Купил я брызгалку в лавке у электриков. Теперь у меня насекомых и под лавкой не сыщешь.

За насыпью шумел залив, ударяясь в бетонные плиты. Над отдохавшими людьми пролетели из неведомых стран утки — с черными сверкающими перьями, с белыми грудками. Весело метнулись в море. Прибой поглотил шелест крыльев.

Из поселка к землекопам брел одинокий человек. Шел неторопливо, неуклюже раскидывая руки, наклонив лицо вперед.

Старый Алиошюс поднял голову, как потревоженный чибис. Ему очень захотелось узнать: кто же это идет?..

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ



не предстояла воздушная поездка из Клайпеды в Вильнюс. Погода была нелетная — неистовствовали дождь, ветер, на небе устраивали побоища тучи, словно обозленные великаны. Пассажирский самолет опаздывал. Уныло поглядывая на часы в крохотном зале аэропорта, мы томились от безделья — хоть ругайся с кем ни попало!

Так и поступил мой круглолицый сосед с облысевшим лбом и немалым животиком: пилил жену — чего та соблазнила его лететь. И чем дольше приходилось ждать, тем больше нервничал толстяк — понося все на свете, поминутно бегал в кассу: не отменен ли рейс, не вызван ли автобус? Не представляло секрета, — товарищ боится полета и предпочел бы храпеть в удобном вагонном купе. Но жена его была изумительна в своей невозмутимости: несмотря на семейные сцены, дремала, склонив голову на плечо, и, наверно, не поколебалась бы плыть через океан в дырявом корыте.

Мокрые окна задрожали от гула. Из черной тучи вынырнула серебряная птица, осторожно облетела вокруг зеленой площадки, развернулась против ветра и приземлилась.

Пузатый еще больше помрачнел, проглотил незаконченную фразу и поволок два объемистых чемодана. У трапа он очутился первым. Недоверчиво взглянул на

раскрытые дверцы. Соломенная шляпа съехала с затылка.

Дождевые капли звякали о металлические крылья. Тучи не переставали бесчинствовать. Мутное небо давило на землю.

Летчик с золотыми нашивками на чистеньком синем костюме нес боржурнал и еще какие-то документы.

— Выдаете пассажирам парашюты? — осведомился круглолицый.

— А зачем? — улыбнулся пилот. — Уж не собираетесь ли вы по дороге бросить ваши чемоданы и закончить поездку пешком?

— А какая же у нас гарантия, что в такую бурю долетим целыми и невредимыми? — не сдавался толстяк.

— Ох и шутник... — Летчик заметил меня и протянул руку. — Ну а ты не боишься без парашюта? — И, громко смеясь, взбежал по алюминиевой лесенке.

— Порядочки! — возмущался пузатый, косясь на меня. — Если не хватает средств на необходимый инвентарь, пусть хоть напрокат дают. Мы заплатим. Стиральную машину можно арендовать, а про парашюты забыли!

Сиденья были глубокие и удобные. Мягкий ковер заглушал шаги. В самолете пахло сосновой хвоей. После непогоды на дворе здесь было уютно, как дома.

Не снимая шляпы, любитель парашютов протираал запотевшее окошко. Дождь усилился, по стеклу катились бусинки капель.

Загудели пропеллеры.

Через несколько минут самолет уже плыл над зубчатыми елями. Серебряным крылом махнул берегу и нырнул в вату туч.

«Ох и шутник...» — вспомнились мне слова летчика. Да, гражданин пассажир, вы большой чудак и выдумщик, и рассуждаете о вещах, о которых не имеете и, наверно, никогда не будете иметь понятия. А мы с пилотом Юргисом кое-что смыслим. Мне даже известна самая тяжелая минута в его жизни. Не тогда ли ты, Юргис, поверил в свою крылатую судьбу? Ты не забыл, как все это случилось?

В аэроклубе имелись в наличии всего один самолет, один парашют и целое полчище подростков — беззаветных помощников механика. Мы выкатывали из ангара двухместную учебную машину на лужайку. Для нас было делом чести схватить тряпку и до блеска надраить замасленное пузо самолета. Мы соревновались — кто первый подставит колодки под колеса аппарата или притащит насос и накачает горючее. Юргису очень везло. Он жил в двух шагах от аэродрома и чаще топтал этот луг, чем пол в своей квартире. Мы подружились — оба были пятнадцатилетними, долговязыми, оба знали решительно все об авиации, о летчиках и их подвигах в поднебесье. Конечно, больше всего мы стремились попасть вместо балласта на свободное сиденье во время полета. Небольшая группа подготовленных молодых пилотов летала уже самостоятельно, а на второе сиденье для равновесия наваливали мешок с гравием. И на этот взбухший мешок мы смотрели с неприкрытой ненавистью. Он нагло присвоил место, по праву — наше. Мертвый груз поднимался к небу, витал над городом и рекой, совершал виражи, сталкивался с облаками, был немым свидетелем всех красот полета... А мы бродили по земле и ротозейничали!

Потом молодые пилоты набили руку. Выкинули мешок. А на свободное место стали сажать живых людей.

Сиденье было глубокое, и мы, юнцы, еле выставляли оттуда кончик носа. Но день, когда ни разу не удавалось подняться в воздух, считался потерянным. Мы всячески заискивали перед летчиками, вперегонки расхваливали их взлеты и спуски, чтоб только удостоиться милостивого предложения:

— Садись. Полетаем.

В долгую зимнюю пору летали редко, но с мая молодых летчиков начали обучать более сложным полетам, так называемому высшему пилотажу. Пришел черед мертвых петель, иммельманов, скольжений на крыле, штопоров.

А как же с нами? Позволят ли летать седокам, не

боящимся ни воздушных ям, ни головокружительных фигур?

Инструктор заявил безо всякой дипломатии:

— Нет, голубчики. Парашют — один, для пилота. Не отдавать же его вам! Подрастете — успеете.

— Какое издевательство! — негодовал Юргис. — Диктатор нашелся! «Подрастете — успеете»...

Самолет купался в лазури. Его веселое гуденье терзало наши сердца. Нас отшвырнули прочь, как ненужную ветошь. Даже зеленая трава аэродрома утомляла взор — земля цепко схватила нас и прижимала к себе до удушья.

Юргис встал и молча ушел.

Я не видел его целую неделю.

Только в субботу он появился снова, в запачканных известью штанах, грязный, исхудалый, но со странным огоньком во взгляде. Отвел меня в сторону и зашептал:

— Не слышал — завтра летают?

— Сбор группы в десять утра.

Юргис засвистел, как веселый дрозд.

— Мы тоже не будем киснуть на земле.

— А парашют?

— Свой принесу.

Я взглянул на Юргиса, как на человека, плетущего спросонок окоlesiцу:

— Смейся надо мной?

Юргис протянул мне измазанную в известке ладонь:

— Давай пари, что завтра будем кувиркаться в небесах?

Мы ударили по рукам.

— А где ты умудрился так вываляться, по каким дымоходам лазил?

— Скромный вклад в успехи воздухоплавания, — ответил Юргис. Он вообще любил не договаривать.

На другое утро, задолго до начала полетов, Юргис появился на лугу с той стороны аэродрома, где жались серые ангары. На плече — перевязь, на талии — кожаный ремень с металлической пряжкой. А за спиной — заправский парашют.

Словом, Юргис выглядел сказочным магараджей. Мы обступили его, щупали тонкий шелковый шнурок. Есть у нас парашют! Сегодня прорвемся в простор. И, бесцеремонно подхватив Юргиса, мы стали качать его, подкидывать. Так совершил он свой первый полет с парашютом, болтая длинными ногами. Юргис весил немало — мы подбросили его три раза и выбились из сил.

Но он сиял и все охотно рассказывал. Как только инструктор изрек свой неумолимый приговор, Юргис вспомнил: у него есть знакомый старшина в парашютной комнате. Сразу же отправился к нему. Тот не желал вступать ни в какие переговоры. Но Юргис настойчиво добивался своего. Старшина ремонтировал собственный домик — тут, поблизости. Целую неделю Юргис размешивал известь, набивал на стены дранку, готовил смесь для штукатурки. В обмен за услуги получил парашют на одно воскресенье. С условием: сразу после полета принести и повесить мешок с парашютом в шкаф, на прежнее место. Чтобы и собака не тявкнула.

Появился инструктор, примчались на мотоциклах гражданские летчики.

Каждый из нас выбрал пилота. Словно в рай попали — огромное чувство собственного достоинства! Мы уже не балласт — на нас полная летная форма. Ласково сжимает спину парашют, с ним даже внизу все виднее. Самолетное сиденье превратилось в трон, откуда мы царственным взглядом оглядывали леса и реки, далеко внизу ниточки улиц и спичечные коробки домов. Мы дразнили голубей, мелькавших над красными трубами города: «А ну-ка догоните! А может, хотите узнать, почему мы забираемся в такую высь? Здесь ближе к солнцу!»

День был погожий, небо ясное и чистое.

Наступил мой черед лететь.

Маленький самолет снижался спиралью, мягко покатился по траве и остановился в отдалении. Инструктор вылез из кабины. Я бросил сверстников, сидевших на лугу, и стал озиаться: где парашют?

Но кто этот наглец?

Хитрый Юргис втихомолку заранее выбежал вперед и, как настороженный заяц, залег среди цветущих одуванчиков. И вдруг он ринулся к самолету.

Его рыжеватые кудри взъерошились от быстрого бега, ветер пропеллера так и рвал их с затылка.

Разве теперь догонишь? Меня бесило неслыханное нахальство Юргиса.

Рыжий паренек проворно залез на самолет. Они пронеслись над самой землей. И вот уже повисли в воздухе. Летят...

Я бессильно опустился на траву. Мрачно наблюдал за самолетом и чувствовал, что меня бесстыдно ограбили. Вот летчик сейчас начнет свои петли...

Мы на глаз определили, какую высоту взял самолет. Шестьсот метров, восемьсот. Теперь, пожалуй, и вся тысяча. Юргис, наверно, доволен, пожалуй, даже покатывается со смеху, что так легко надул меня.

— Достаточно.... Достаточно высоты...— задрал голову, по привычке вслух бубнил инструктор.— Убавь горячее.

Желтокрылый самолет, как жаворонок, повис в лазури. Замер мотор. Словно оборвалась незримая нить между небом и крыльями. Самолет взметнулся вверх, пытаясь за что-то уцепиться, раскрыл крылья, как руки, словно желая обнять бесконечный простор. Потом он накренился набок и закрутился, как опавший лист.

— Отлично...— бормотал инструктор, широко расставив ноги, закинув руки за спину.— Считай! Один раз. Второй. Третий. Теперь восстанови ручку. Так. Отлично.

Пилот словно слышал эти одобряющие слова. Рука за рулем приостановила верчение, самолет заскользил отвесно вниз и должен был теперь выровняться. Мы нетерпеливо ждали: сейчас взревет мотор, опять возникнет незримая нить между крыльями и небом, а мы радостно выкрикиваем: «Чисто сделан штопор. Давай вторую фигуру!»

О ужас! На губах запеклись еще не высказанные слова. Все, кто сидел на траве, вскочили как безумные.

Две, три минуты... Самолет не выровнялся. Превратясь в непослушную стрелу, машина легла колесами кверху да так и летела, озаренная солнцем. Теперь пилот с Юргисом повисли головами вниз. Эх, друг, что ты натворил, неужели ты спутал рубеж между небом и землей, между смертью и жизнью!

Перевернувшийся самолет еще некоторое время летел неизвестно куда — слепая беспомощная игрушка.

И мы увидели, как тяжелая лакированная ткань крыльев стала морщиться складками, рваться. Обломки и обрывки облепили серебряный фюзеляж. Став непокорным чурбаном, самолет падал, кувыркался, роняя по сторонам клочки крыльев.

Но почему не видно людей? Отчего они не прыгают? Ведь оба еще живы, все видят, понимают.

Искалеченный самолет быстро приближался к молодому осиннику.

Мы оцепенели от ужаса.

И вот совсем невысоко, почти над самой рощицей, расцвел в лазури белый цветок. Под ним висел человек. От толчка раскрывшегося парашюта он раскачивался как маятник.

А второй?

Самолет исчез среди осин.

Мы бежали опрометью, топтали чьи-то огороды, перелезали через забор.

Навстречу плелся долговязый рыжий паренек. Рубаха вылезла из брюк — глаза большие и почти стеклянные.

— Я кричал ему, но... но... Там, возле форта, у канавы...

Юргис бросился на траву и зарыдал.



Наш самолет мчался по улицам туч и облаков. Толстяк давно храпел в мягком кресле. Дремали и остальные. Иногда полог туч разрывался и виднелись омытые дождем квадраты полей, ржаное жнивье, рощицы.

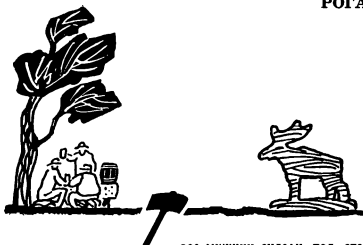
Дверь кабины летчиков отворилась. Краснощекий бортмеханик в белой рубашке заодно улыбнулся девушке в синей атласной жакетке:

— До Вильнюса уже недалеко. Летим над Тракайскими озерами.

Но за окнами клубились тучи и озер не было видно.

Я взглянул на часы. Сегодня пилоту Юргису повезло. Попутный ветер. Прибудем домой на полчаса раньше.

ЛОСИНЫЕ РОГА



рое мужчин сидели под старым каштаном. Место они выбрали на славу: густая листва — словно крыша, а толстый ствол — защита от ветра. Когда-то крестьяне прикатали сюда плоский жернов и устроили каменный столик, где теперь стоял двухведерный бочонок. Все трое потягивали пиво и лениво озирались по сторонам, словно поджидая еще кого-то в свою компанию. Но на самом деле они всего лишь ждали наступления темноты.

Тишину на маленьком дворике изредка нарушало веселое шипение вырывавшихся из бочонка струй пива.

Бригадир Игнатонис тупо уставился в полулитровую кружку и сосал сигарету за сигаретой. Он почти ничего не говорил и все морщился, будто у него кость в зубах застряла.

Его свояк, колхозный лесник Мотеус, высоченная, худосочная личность с длинной, тощей шеей и сильно покрасневшими щеками, завел:

Наварил я нынче
Пенистого пива.
Выпил за здоровье
Девушки красивой...

Но никто не подтянул. Мотеюс притих, вздохнул, прихлебнул из кружки и почесал бедро.

Третий за столом — горожанин с седыми усиками и настороженными глазами — сидел выпрямившись, откинув угловатые плечи, часто прикладывался к кружке, но не пьянел.

— Да уж, — продолжал он какую-то историю, видимо уходящую корнями в отдаленные времена. — Тогда рабочие не были такими бесноватыми. А теперь — все ихнее. И не пробуй им перечить.

Игнатонис только головой кивнул, не высказывая вслух своего мнения. Мотеюсу снова захотелось всех развлечь. Он затянул нарочито унылым фальцетом:

Есть у нас один хозяин —
Не приветит гостя!
У печи торчит чурбаном
И молчит от злости...

За двориком, в зарослях малинника, стоял недавно обшитый досками домик. В открытом окне билась белоснежная занавеска. Едва умолкли последние слова песни, как оттуда высунулась обнаженная женская рука и сердито, с шумом захлопнула окошко.

Мрачный Игнатонис криво усмехнулся:

— Рвет и мечет...

Горожанин поглядел в ту сторону.

— Фельдшерница... — услужливо наклоняясь к гостю, зашептал Мотеюс. — Хотела захороводить агронома, а тот возьми да укат с другой. И метрики для загса забрали.

Видно желая подразнить девушку, прятавшуюся за скном и занавеской, Мотеюс запел громче прежнего:

А когда туда пошла,
Ничего я не нашла:
На горе гниющий мох,
Под горой чертополох...

Во двор как тень проскользнул босой парень лет двадцати двух, без шапки: он посмотрел на закрытое окно, на сидевших у жернова, на бочонок пива. С лица его не сходила застенчивая улыбка, словно он перед всеми извинялся.

Горожанин подозрительно покосился на незнакомца и обернулся к леснику с немым вопросом — кто это с такой младенческой улыбкой?

— Пригласим Юргюкаса... — оживился лесник. — Пусть пива полакает да пощебечет нам.

Игнатонис даже зубами скрипнул:

— Не связывайся!

— Кто же он такой? — не выдержал приезжий.

— Хитрый дурень... — отозвался Игнатонис и одним духом осушил полулитровую посудину.

Лесник тихо хмыкнул. Ему были известны причины бригадирской злости. Отец Юргюкаса в давние годы украшал сельские перепутья деревянными страсготерпцами, скорбящими божьими матерями, святыми Флорианами. И гробы мастерил. Юргюкас в отца пошел. Только новые времена изменили и богорезов. Парень сбивал кадушки под капусту и огурцы, гнул обода к колесам, а в часы досуга вырезал людей и зверей. Проезжие студенты, приметив работы Юргюкаса, сфотографировали парня и его фигурки. И как же остервенел Игнатонис, увидев на газетном листе собственную персону: валяется он в обнимку с огромной бутылью, а из горлышка выползает змея с тонким, гибким жалом!

Только тогда Игнатонис заинтересовался горенкой Юргюкаса, где резьбой загромождены все подоконники. Тут и телята, и девка Ядвигута с подоткнутой юбкой, и бухгалтер, у которого очки с носа слезают, и тетка Агута с медалью «Матери-героини» на мощной груди, и тракторист, оседлавший бочку с бензином. Сам дьявол подарил свои когти Юргюкасу, чтоб тот мог людей обезьянничать!

Увидел бригадир и усача с бутылью и змеей, схватил и что есть силы шваркнул об пол. Деревянная фигурка треснула пополам.

Юргюкас и не вздрогнул. Стоял и улыбался, будто святой угодник. Потом спокойно нагнулся, поднял обломки, погладил и сказал бригадире:

— Ты, сударь, как гриб. Вырос, напыжился, а корни твои слабоватые.

Игнатонис стиснул кулачище размерами в дубовый пень и, помахивая им, грозно рявкнул:

— Тебя самого на опилки спишу, коли будешь людей порочить!

А в голубых глазах Юргюкаса все не пропадает усмешка. Пожал плечами, подошел к верстаку, опять взял ножик и какую-то чурку.

— Дерутся те, кому лень мозгами раскинуть...— сказал он, не поднимая глаз.

С той поры Игнатонис не может спокойно встречаться с Юргюкасом. И так, и сяк прикидывает, чтоб парня из деревни выжить или прищемить, чтоб и не пикнул. Да разве сразу придумаешь! Прошли строгие времена — нельзя уже прихлопнуть, как прежде...

Юргюкас присел на булыжник с краю двора. Вытянул босые ноги, глядит на домик средь малинника и ни гугу. Игнатонис взглянул исподлобья раз, другой. Старая обида ожила, как чирей. Чего парень здесь торчит, чего вынюхивает?

Встревожился и городской, заметив сердитую складку в уголке губ бригадира.

— А может, глоточек ему...— шепнул приезжий.— Погладить пса, чтоб не тявкал...

— Не связывайся! — повторил Игнатонис.— А коли он за нами потащится, я его...

Игнатонис треснул кулаком по жернову.

— Глянь-ка, опять выстрегивает...— промолвил Мотеус.

Все видели — Юргюкасу надоело глазеть на фельдшерицыно окошко, он нашарил в кармане ножик, подняла с земли угловатый корешок и принялся что-то вырезать.

Игнатонис за пивной кружкой сидел как на горячих углях. Он притворялся, что и не глядит туда. Но мучило беспокойство. Шепчется с городским, а сам нет-нет да сверкнет глазами в сторону Юргюкаса.

Один Мотеус, уже вконец нализавшийся, ничему не дивился и снова попробовал завести песню.

Раскрылись двери, на пороге домика появилась фельдшерица. Высокая, бледная, коса уложена венчиком, глаза запали — видно, расстроило ее происшествие с неверным агрономом.

— Привет, Юргюкас,—сказала она устало.—Принес обещанное?

Юргис встал с виноватой улыбкой. Руки у него болтались, будто плохо подвешенные.

— Да не видывал я сроду этих слонов,—отозвался он.—Пробовал, а вместо слона кошка мяучит...

— Семь слонят — это к счастью...— вяло продолжала фельдшерица.—А я-то думала, ты мастер на все руки. Все можешь вырезать — и что бывает, и чего не бывает...

Юргюкас робко плечами повел:

— Может, семерых лосей? Иду я на днях через рощу — эдакий лесной царь на тропу выбежал! Венец у него, будто с камнями драгоценными. И умчался вперед — земля задрожала. Ведь и счастье человека — всегда впереди.

Фельдшерица подошла к малиннику, раздвинула листья, сорвала ягодку и задумчиво посмотрела на Юргюкаса.

— Счастью цену знает тот, кто испытал несчастье,— проронила она.— Ладно. Ступай к своим лосям. А если слонов не видал, покажу тебе их на картинке. Только в другой раз.

Юргис не торопился уходить. Стоял с грустной улыбкой и порывался еще что-то сказать.

Девушка рвала малину, собирала в пригоршню.

— А лось в лесу плачет...— заговорил Юргюкас.— Там неладная машина стоит. Больно она сюда зачистила...

Прислушивавшийся к обрывкам разговора Игнатонис теперь чуть не налег на столик, впиваясь глазами в Юргюкаса. Горожанин толкнул в бок дремавшего лесника:

— Пошли. Верно, пора.

Юргюкас, спиной к каштану, заговорил еще громче:

— Просил вас лось... Ведь у вас телефон!

— Куда ты хочешь позвонить? — заинтересовалась фельдшерица.— Что за неладная машина? Где она, зачем прибыла?

— У лося рога остры. Рассерчает — может такое на-

творить...—сказал Юргюкас уже настолько отчетливо — столетний каштан и тот мог расслышать!

Горожанин поспешно вскочил, даже опрокинул кружку с недопитым пивом. Желтый ручеек зазмеялся по шершавому жернову.

Под каштаном было пусто.

Беззвучно опускалась ночь. Голубые сумерки окутали двор. Еще минутку сверкал островок золотистого облачка, потом и его захлестнуло черной волной.

Ближнюю колхозную рощу огласили разъяренные голоса. Тройка, что недавно мирно сидела под гостеприимным каштаном, остервенело суежилась вокруг грузовика с недавно срубленными стволами. Всех четырех шин коснулись острые лосиные рога, и колеса, которым предназначалось в ночной тьме мчаться в город, бесильно прижимались к мягкому мху.

Игнатонис ощупывал раны на резинё, крутил взъерошенные черные усы и все откидывался назад, будто опасаясь острого змеиного жала.

Мотеюс вместе с городским пытались скинуть с машины бревно, чтоб не оставалось улики, но потом рукой махнули. Все громче трещал приближавшийся мотоцикл, и вскоре в кустах блеснул яркий свет.

С шумом и гиком подходили и пешие из деревни. Эхо блуждало по темной роще, будило красноствольные сосны, березы: в белых рубашках и елочки, погруженные в грезы.

А лось, царь лесных чащоб, стоял в светелке у Юргюкаса. Мигала копилка. В руках у умельца сверкал острый рубанок. Сыпались стружки — белые и нежные, как весенние цветы. И лось поднимал свою увенчанную голову, готовясь к невиданно смелому прыжку.

В ГЛУШИ ЛЕСНОЙ

Посвящаю леснику П. Жеконису



Каждое утро он идет здороваться с зеленой чащей. Что и говорить — для пятидесятилетнего Адомаса, весь свой век прошагавшего по борам и рощам Дзукини, лес — будто родное дитя.

В свое зеленое царство лесник отправляется спозаранку. Домочадцы еще спят сладким сном, а он до завтрака обойдет немало участков, потолкует по душам с бородатыми елями, тонкоствольными березами, веселыми соснами. Недобрые люди, исподтишка проникающие в его владения, дрожат перед «старым лисом», который словно чувствует, где застонало деревцо под топором порубщика, и сразу же спешит на выручку.

С приходом белой гостьи — зимы Адомас становится особенно бдительным. В снег, в метель ему не сидится в избе. Он хорошо знает — ветер и пороша быстро укроют колен дровень. А того и надо негодникам, забравшимся в такие заросли и топи, где черт ногу сломит. Адомас снаряжается в путь и, будто дед Мороз, с запорошенными плечами, со снежинками в мохнатых бровях, опираясь на палку, неторопливо бредет по дальним тропинкам, зорко озирается по лесу, сказочно прекрасному в зимнюю пору. Занимательные вещи расска-

зывает тогда усеянная следами земля. Лес дышит жизнью, неприметной для неопытного взгляда. Тут пробежала серна, еще никем не пуганная, потому и поступь у нее легкая, ровная, безмятежная, а там, у кустиков дерезы — раздольный узор заячьих лап: на славу поработали за ночь косые — побег, пробившиеся сквозь снег, начисто обгрызены, обсосаны. Улыбается Адомас — это им посажена дереза, отличный подарок для курых зайчишек.

Остановившись возле юных братьев-дубков, Адомас покачивает головой. На них видны зубы лося. Но что поделаешь с этим гордым красавцем! Сохатым Адомас прощает даже самоуправство. Если бы лоси вздумали перекочевать в другие места, это было бы кровной обидой для старого лесника. Без сохатого и чаща не в чашу; если лось не затрубит поутру, в лесу пусто покажется.

Пересек Адомас заброшенную тропу. Остановился старик, огляделся. Прикинул — в какую сторону идти. Руки в варежках сцепил на своем неразлучном посохе и постоял, впивая в себя студеной и чистый воздух. Легко на сердце. Деревенский шум — далеко позади. Адомас один в чашобе, но не чувствует себя покинутым. Это — его лес, здесь вся его жизнь за долгие годы. Сменяются времена года, окраска листьев и трав, люди сходятся и расстаются, уступают место потомкам, а чаща шумит и гудит в своем извечном обновлении. Адомас — не поэт, не мудрец, а рядовой деревенский житель — по своему ощущал невыразимую тайну красоты и величия природы. Он радовался, что человек не сухая ветка и всегда может оставить след в жизни.

Что-то промелькнуло среди сосен. Адомас затаил дыхание. Сейчас опять откроется перед ним какое-нибудь любопытное зрелище. Где-то поблизости лось. Не проснулся ли сохатый?

Но на тропинку вылез волк — матерый, отъевшийся. Задрал морду и выпятив грудь, вызывающе поглядел на человека. В предутреннем свете звериная шерсть казалась лиловой.

Адомас стиснул палку. Нет, это не тросточка для прогулок. Еще после первой войны он нашел в поле

казачью пику и, сняв с нее острие, насадил на свою палку, чтоб лучше взбираться зимой по скользким буграм.

Волк не двигался. Недавно здесь проходила облава. Адомас дал охотникам павшую лошадь, сани, чтоб свезти ее в чащу, помог устроить засаду. Возле приманки застрелили молодую красавицу волчиху. Потом ночной лес долго оглашался душераздирающим воем. Адомас удивлялся: неужели самец так оплакивает свою подругу?

А теперь лесник сжимал посох и чувствовал, как озноб забирается под тулуп.

Волк не отступал. Разглядывал лесника, будто немышленого барашка или жеребенка. Зверь упрямо выжидал. Он словно прикидывал — кому принадлежит эта тропа. Повстречались зверь с человеком. Кто из них отступит? Кто из них испуганно повернется спиной? За кем останется свободный путь?

В голове у Адомаса лихорадочно носились мысли. Не этого ли зверя не раз уже угощали горячим свинцом? Не он ли однажды привел свою свору к стогам, и хищная стая в ту ночь отдыхала не в лесной глуши, не в темном болоте, а на стогах сена, откуда отлично видны жилища двуногих врагов? Не этот ли самый волк несколько лет назад подстерег в темноте возвращающегося из школы мальчугана? Только весной, когда стоял снег, нашли деревянный короб с почерневшими книжками, башмаки, клеенчатый брючный ремешок.

Не этот ли самый людоед?

Ужас охватил Адомаса. Замахнувшись палкой, он заорал. Но волк еле шевельнул задом. Взыршил шерсть. Сверкающими неподвижными глазами уставился на лесника.

Эхо в просеках грустно и беспомощно повторило крик Адомаса. А волк все стоял, выпятив грудь. Врагов разделяло совсем небольшое расстояние. Лесник уже, казалось, ощутил горячее дыхание зверя.

И Адомас снова крикнул: «Прочь! Эй, люди! Волк!»

Он звал, только вряд ли кто его услышит. Но собственный голос подбодрял его. Адомас сообразил —

надо укрыться за деревом и острой палкой пырнуть волка, если только тот... если только...

Хищник словно прочел мысли Адомаса. Почуял испуг человека. Лесник не успел и моргнуть, как волк, словно подкинутый могучей пружиной, круто вскочил с заметенной тропы. Такой бросок зверя жертва наблюдает единственный раз в жизни — в первый и последний.

Адомасу померещилось, будто волк пролетел над его теменем. Лесник даже голову втянул, словно опасаясь, как бы зверь не содрал с него когтями заячью шапку. Но в то утро волк не играл с человеком. Он точно рассчитал свой прыжок. От сильного удара в грудь Адомас рухнул на спину. Серый небосвод загорело мохнатое чудище, казавшееся уже не фиолетовым, а рыжим.

Вот когда Адомас пришел в себя. «Волк на мне, я под ним, его пасть возле моей глотки».

Палка с острым наконечником выпала из рук Адомаса. Он чувствовал зловонное дыхание зверя, дрожь упругого тела, слышал глухое урчание.

Адомас облапил волка и стиснул его загривок, стараясь столкнуть с себя дергавшегося от ярости хищника. Но зверь был скользким, он проворно вывернулся, и Адомас снова увидел волчьи клыки возле самого лица, на лесника брызгала липкая слюна.

Немало зим и весен прожил старик, но дружба его с чащей не прошла понапрасну. Для своего возраста Адомас сохранил достаточную ловкость и прыть — мускулы его остались сильными. Он сжимал теперь шею хищника с такой дикой силой, что казалось, волчьи позвонки треснут, но это разъяренному волку было ни почем. Сантиметр за сантиметром зверь выскальзывал из обхвата. Вот уже Адомас и волк чуть не лбами столкнулись. Лесник видел глаза — ледяные, с розоватым отблеском, пожалуй, даже веселые. Но нет — страшный блеск во взгляде волка напомнил Адомасу о неподвижной волчице возле лошадиной туши. Старик снова будто услышал одинокий вой в ночной чаще.

Лесник с каждым мгновением слабел. Но он делал все, что только мог. Руку, закутанную овчиной, он су-

нул в волчью пасть, как удила коню. Клыки зверя прокусили тулуп, дошли до живого тела. Острая боль обожгла Адомаса, но и привела его в себя. Лесник вырвал руку и тут же, с остервенением обреченного, сунул в хищную пасть другой локоть. Вонзая клыки, волк как-то обмяк, и этим воспользовался лесник. Он наполовину скинул с себя волка. Тот выпустил локоть, и острая морда снова очутилась у лица Адомаса. Вонючая слюна брызгала на него.

«Не бешеный ли?» — мелькнула догадка у Адомаса. Но раздумывать было некогда.

Они боролись немало времени. Кругом куржавилась снежная пыль. Человек изнемогал, волк становился все яростнее. Шерстяные варежки Адомаса куда-то исчезли, из рук хлестала кровь. Кровь капала на лицо. Но не это теперь самое главное. Напрягая все силы, даже перестав ощущать боль, Адомас решился на последнюю попытку. Откинув голову, он навалился всей тяжестью на волка, а тот грыз его руки от локтей до плеч. Адомас лежал поперек зверя. Он схватил свою острую палку и попробовал ударить хищника. Но тот оказался проворнее. Палка захрустела между клыками и переломилась пополам. Адомас ухватил одну половину, но второпях ошибся. Волку в зубы угодила неокovaná сторона, которую зверь без труда превратил в щепки.

У Адомаса перед глазами мелькали разноцветные пятна, цепенело тело. Неужели конец? Волк уже почти совершенно высвободился из-под лесника и так судорожно дергался, что удержать его можно минуту — не больше.

Адомас подкатился ко второй половине сломанной палки. Как в тумане увидел он острие с казачьей пики.

Эх, молод и силен был Адомас, когда отыскал эту пику у старого окопа. Метнет, бывало, ее, а она летит и свищет, будто сотня ос. Никто в деревне так далеко не забрасывал копья.

Немееющими пальцами дотянулся до окованного конца. Острие выскользнуло. Еще раз... Снова не ухватил. Волк, может, жадно грыз его левую кисть. Адомас почти не чувствовал — рука казалась деревянной.

Наконец, схватив пику, он сунул ее волку в пасть. Трещит дерево, летят щепки, брызжет кровавая слюна. Но железная пика застряла в волчьей пасти.

Это привело Адомаса в себя. Исчезла пестрая пелена перед глазами. Он ясно видит. Снова скрестились глаза человека и зверя. Оба живы.

Увы, волк не ослаб, хоть и давится пикой. Он выгнул хребет, храпит, вырывается из-под Адомаса, почти садится. Еще секунда, и леснику его не удержать. В горящих глазах волка нет пощады. Зверь знает, зачем напал на этого человека.

Проклятые, кровожадные глаза!

И не колеблясь Адомас воткнул пальцы в глазные впадины зверя. Рвет, раздирает... Чаша дрогнула от воя. Адомас уже не знает, чья кровь у него на руках — человечесья или звериная. Нет больше волчьих глаз. Но нет уже сил и у Адомаса.

Он встает, пытается бежать...

Вскакивает и волк, вытягиваясь во всю длину на задних лапах. Тянется к человеку.

Зацепившись ногой за корягу, Адомас падает ничком в снег. Но если хочешь жить, вставай, защищайся! С невероятной ловкостью Адомас поднимается на ноги, инстинктивно прикрывает рукой лицо. Где волк?

Адомас видит: хищник кружится колесом на месте, ударяется о сосенку. Потом бежит все быстрее, все дальше от Адомаса. Рыжая шкура с черной полосой на поясище исчезает за деревьями, за белыми косынками инея.

Адомас бредет по лесу. Шатается. Временами кричит. Слева и справа звучит эхо.

Человек настолько изнурен, что почти забывает знакомую дорогу. Порой стучается о дерево, и тогда сверху мягко осыпаются снежные кружева, обнажаются ветки. Адомас бредет с непокрытой головой. На белый полог падают крупные капли. Кровь — след пройденного им пути.

Адомас снова окликает лесную чашу, далеких людей. Хочет увидеть живого человека... Встретить друга... И рассказать.

Со стороны Немана — выстрел.

А потом снова тишина. Мир призадумался, не роняя ни слова только вслушивается, как скрипит снег. Не споткнулся ли Адомас, найдет ли он дорогу к своим?

В тот день Адомас и матерый волк снова встретились. На этот раз в Алитусе, возле больницы. Побежденный и ослепленный зверь убежал к берегу, кинулся в Неман, поплыл через незамерзшую реку. Поблизости оказался охотник и без труда прикончил волка.

Теперь хищник валялся на больничном дворе, окруженный любопытными. Никто еще не видывал такого крупного и крепкого волка. Ветеринар проверил: не бешеный ли?

Нет, волк не был бешеным. Но Адомас долго лечился, и шрамы на руках так и остались.

И, меченный звериными когтями, Адомас по-прежнему каждое утро приходил поздороваться со своей чашей, которую любил, как собственную жизнь. И проторил в ней еще много новых троп...



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| Секретная почта. Перевод К. Келы | 5 |
| Поездка на Эменное болото. Перевод К. Келы | 28 |
| Солдатский нож. Перевод К. Келы | 38 |
| Месть. Перевод Р. Рябинина | 48 |
| Нить судьбы. Перевод И. Капанаса | 58 |
| Горячая кровь. Перевод Р. Рябинина | 68 |
| Однажды летней ночью. Перевод К. Келы | 78 |
| Поединок. Перевод И. Капанаса | 86 |
| Гармония джаза. Перевод К. Келы | 96 |
| Километровый столб «147». Перевод Р. Рябинина | 107 |
| Козий король. Перевод И. Капанаса | 116 |
| Семиногий конь. Перевод К. Келы | 125 |
| Беспокойное море. Перевод И. Капанаса | 135 |
| Чудовище. Перевод Р. Рябинина | 143 |
| Тайна. Перевод Р. Рябинина | 153 |
| Безбилетный пассажир. Перевод И. Капанаса | 162 |
| Между небом и землей. Перевод И. Капанаса | 171 |
| Лосиные рога. Перевод И. Капанаса | 179 |
| В глуши лесной. Перевод И. Капанаса | 185 |

ДОВИДАЙТИС ИОНАС ПРАНОВИЧ СЕКРЕТНАЯ ПОЧТА

М., «Советский писатель», 1964, 192 стр.

Редактор Н. И. Бузиношвили. Художник Ю. А. Цишевский
Худож. редактор В. И. Морозов. Техн. редактор Р. Я. Соколова
Корректор Г. Г. Папандопуло



Сдано в набор 24/XII 1963 г. Подписано к печати 12/V 1964 г.
А 02074. Бумага 84 x 108¹/₃₂. Печ. л. 6 (9,84). Уч. изд. л. 9,11
Тираж 30 000 экз. Заказ № 33. Цена 42 к.



Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, В. Гнездинковский пер., 10.
Тульская типография Глафполиграфпрома
Государственного комитета Совета Министров СССР по печати
г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, д. 109

